

84(2-832.1)/6  
У 435

Борис Укатин  
**ГОРНЫЕ  
ДУХИ**

Издательство  
„Детская литература“







*Борис Ужанин*

# ГОРНЫЕ ДУХИ

ПОВЕСТЬ

Перевод с алтайского



*Москва "Детская литература" 1979*

84/2=532, 1/5-4

С(Сиб)

У 35,

*Перевела М. А. НАЗАРЕНКО*

Художник Ю. ГЕРШКОВИЧ

331435<sup>0</sup>/2

Горно-Алтайская  
областная  
БИБЛИОТЕКА.

У  $\frac{70803-400}{M101(03)79}$  313-79

Перевод. Иллюстрации.  
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1989 г.



1

— Кымыс, у меня ребенок заболел, иди посмотри, пожалуйста.

— Кымыс, нет ли у тебя чего-нибудь от кашля?

— Кымыс, желудок болит, есть лекарство?

— Кымыс, справку надо — болею...

— Где наша хохотушка?

3

— Вот если не будете звать «хохотушкой», вылечу ваш желудок. Ха-ха-ха!..

— Кымыс, у снохи своя болезнь началась. Пожалуй-ста, пойдем, принимай нашего первенца!

— Это уж по природе, конечно... Бабка Эштэн на старости лет решила всю премудрость свою передать внучке.

— А что худого? Все мы под покровом кок-тенерй — синего неба, все зависит от батюшки нашего Алтай-кудая...

«Ласковые, веселые люди у нас в Куулгы, — думала Кымыс, поднимаясь на белом коне по горной тропе, путавшейся в высокой и душиной зелени трав. — А еще веселее было бы, если б все, кто в Куулгы родился, тут и оставались. И куда их гонит, девушек и парней наших? Конечно, не скажешь ведь — не учись. А выучатся — уезжают. Насовсем из Горного Алтая. В Алма-Ате, и в Ташкенте, и даже на Крайнем Севере встретишь алтайцев. Что манит туда их? Наверно, это и есть романтика...»

И много еще такого думала Кымыс. Не только потому, что сама вернулась в Куулгы. А потому, что дела молодежи в селе — ее дела. Все, от бригадира и директора школы до секретаря райкома комсомола, обращались к Кымыс, звонили Кымыс. Начнется ли весенний охот скота и на дальние стоянки предстоит отправлять сакманщиков — приглашают Кымыс, обсудить, откуда брать людей; нужно организовать воскресник по заготовке дров для школы — директор звонит Кымыс. Прибрать улицы по весне — опять Кымыс, опять секретарь комсомольской организации!

Лето еще только начиналось, а новые голубые джинсы Кымыс выгорели, нежное, округлое лицо обветрело. Черную косу она больше не прятала под косынку, не закалывала шпильками — тяжело становилось к концу дня голове. Коса моталась за спиной, щекотала мохнатым концом круп лошади, — тракторист Монкуш смеялся, что она не хуже лошадиного хвоста отгоняет комарье.

Уже второй год все пастухи и табунщики, завидев всадницу на белом коне, спешили навстречу — всегда

находилось, на что пожаловаться, чем поделиться, о чем расспросить.

Белый конь взбирался медленно, мотая головой, хватая на ходу придорожные травы. В жаркой июньской тишине было слышно, как он похрумкивал ими.

Кымыс как-то спросила Мáру, свою подружку:

— Хорошо уже знаешь хакасский?

— Конечно, хлеба по-хакасски умею спросить, — смеялась Мара.

— Тогда как же ты играешь у них в театре?

— А на русском.

— Почему бы тебе не работать здесь?

— Ты же знаешь, нет в Горно-Алтайске театра... А как я скучаю!

Может, и все так? Просто нет им тут места... А как же они там живут? Без этого солнца, без живых, зернистых звезд над Куулгы? Без белой луны, плывущей во мгле?.. Кымыс тяжело вздохнула и тихонько запела:

Синева, синева, где найти мне слова,

Чтобы вам описать синеву?..

Свой маршрут выбирай, приезжай на Алтай

Повидать синеву наяву...

Она не знала, кто сочинил песню, выучила по радио и поет... Все любят «Синеву», и русские и алтайцы. А больше всех — тракторист Монкуш... Похоже, Монкуш приходит в клуб только ради Кымыс. Усядется в первом ряду и слушает. Некоторые топают в такт ладоням: «Теперь, Кы-мыс, «Ла-ду», пой нам «Ла-ду»!» Что же, можно и «Ладу», если нравится куулгинцам, пусть слушают, словно маленькие:

...Для меня твой смех награда, Ладв!..

Едва закончит она свои номера, Монкуш отправляется домой...

Много молодежи в Куулгы, и комсомольская организация большая. Но могло бы в Куулгы молодежи быть больше... А как удержать, остановить? Какую придумать

преграду? Рабочих рук не хватает. В месяц малой жары, во время покоса, приходится звать на помощь гостей — всех, кто оказывается в Куулгы. К деду Абá приезжает в это время внук Эрдéн, старший брат Монкуша. Монкуш — тракторист, а Эрдéн — офицер, служит на Дальнем Востоке. Дед Аба письмо показывал — присдет Эрдéн с молодой женой. Будто бы татарочка. И не такая уж молоденькая... Долго, долго искал невесту Эрдéн... Мог бы и еще повременить... А, Эрдéн? Ты не слышишь, Эрдéн?..

Кымыс поднялась на лесистую седловину. Вдруг на встречу ей из кустов метнулся красный взмыленный конь. Чабан Камылды Кертéшев, не здороваясь, закричал:

— Хорошо-то как! Какой бог тебя послал, Кымыс? Давай торопись-капшай!<sup>1</sup>

— Что случилось, Камылды?

— Говорю тебе, торопись-капшай, некогда тут рассказывать! Где чумбур?<sup>2</sup> Гони коня! Торопись, говорю, там... умирает там!.. Она одна там...

— Кто умирает?!

— «Кто-кто»!.. Мать моих детей, говорю, торопись-капшай, говорю. Тарынчák заболела! Всю ночь болела и теперь болеет!

Красный конь под седлом Камылды крутился на месте, разгоряченный, мотал мокрой потемневшей головой, раздувал круглые ноздри. Камылды дернул поводья, повернул мерина, стегнул камчой и, пустив вниз по пологой седловине, еще раз обернулся:

— Бог мне, верно, помог, что попалась ты!.. Не отставай, Кымыс!

Вбитая в землю копытами тропа торопливо обходила каменистые бугры, могучие стволы и снова бежала вперед. Вековые лиственницы и синие кедры удивленно глядели на всадников. Белый конь Кымыс решил, видно, показать, что он не хуже красного мерина, — вытянув голову, прижав уши, перешел в намет.

---

<sup>1</sup> Алтайцы в разговоре употребляют часто алтайские и русские слова одного значения. Капшай (алт.) — торопись.

<sup>2</sup> Чумбур — длинный конец уздечки.



Еще немного — и откуда-то снизу громкий лай огласил леса и скалы, и почти тотчас оттуда, из леса, выскочили собаки, черная с рыжей, и заплясали, заметались в ногах лошадей.

— Прочь, лохматые черти! — ругнул их Камылды.

Кымыс концом чумбура ударила по крупу коня, понеслась галопом, поднимаясь на стремянах.

Камылды первый прыгнул на землю у одинокой конюязи рядом с аилом, похожим на стог прошлогоднего сена. Он вытирал измятой кепкой широкое бугристое лицо, когда Кымыс, прискакав, бросила чумбур и принялась отвязывать притороченную к седлу сумку.

— Капшай-торопись, милая, — шептал Камылды, привязывая белого коня и следя за Кымыс.

Из аила донесся пронзительный женский крик: «Э-эй! Эй!.. Что делать, что делать!..»

Кымыс в один прыжок — только коса метнулась — была возле аила, откинула дверь.

На женской половине, на расстеленной бычьей шкуре, металась и хрипела грязно-белая овечья продымленная шуба.

Кымыс отодвинула трех чумазных испуганных девчушек-погодков, с узкими блестящими щелками заплаканных глаз, и увидела серо-белое, как и шуба, лицо в черных растрепанных волосах. Она присела на корточки и, косясь на живот, распиравший шубу, приподняла голову женщины:

— Встаньте с пола, Тарынчак, койка же есть, ложитесь, — настойчиво сказала она. — А ну-ка, я помогу вам. Давайте, давайте разденемся!

Уложив Тарынчак, она заметила растерянного Камылды.

— Все будет хорошо, не стойте, Камылды, и вы, дети, не бойтесь, принесите дров, разожгите очаг, мне нужна теплая вода.

Тарынчак примолкла, только устало дышала, брошенное на нее одеяло приподнималось и опускалось.

Пока Кымыс доставала из сумки и надевала халат, девочки принесли воду, Камылды стал разжигать потухший костер.

Тарынчак, видно, совсем отпустило. Приподнявшись на локте, повернув бледное лицо к забежавшему по дровам огню, она принялась ругать мужа:

— Я тебя за кем послала, дурак непутевый? Ты, наверное, спятил. Я ведь к тебе обращалась, а не к черной земле!.. Ой, ой, Кудай-кудай!<sup>1</sup> — вскрикнула она, откинувшись на кровать, и снова ее большое тело не могло найти себе места.

Камылды вскочил и, не понимая, что она его не услышит, виновато оправдывался:

— Кымыс встрелась, хорошо, что сама сюда ехала...

Тарынчак только стонала и взвизгивала.

— Не надо так кричать, Тарынчак, — спокойно говорила Кымыс, натягивая резиновые перчатки.

— Не надо, не надо, мать моих детей, не надо, — повторял, словно горное эхо, Камылды.

Кымыс подумала, что детей у Тарынчак порядочно, тут вот трое да дома, в Куулгы, уже взрослая Нина. А раз много детей, теперь то, что должно произойти с Тарынчак, произойдет быстро.

— Кого ожидаете, Тарынчак, мальчика или девочку? Ничего, ничего, Тарынчак, скоро все будет хорошо.

— Сына, конечно, сына ждем, милая, — торопливо ответил за жену Камылды. — Как же, девочек хватит. Нам теперь надо сына. Токтыр, помоги, говорю, пожалуйста, милая, пусть сын родится...

— Не мели зря языком, — хрипло прервала его Тарынчак, — лучше скажи детям — пусть уйдут во двор поиграть.

Девочки мигом выкатились. Хотел было выйти и Камылды, но гневный голос жены ударил ему в широкую спину:

— Куда убегаешь, шайтан? Я же велела тебе привезти тетушку Эштен, а не внучку ее... Ох, ох, держите, помогите... Падаю!..

Кымыс принялась вытирать мохнатым полотенцем пот с лица Тарынчак. Нежный, но требовательный голос девушки что-то приговаривал, советовал, настаивал, и роженица притихла, вслушиваясь.

---

<sup>1</sup> Кудай-кудай! — О господи!

— Говоришь прямо как бабка твоя, как тетушка Эштен,— надрывно вздохнула она.

— Я четыре года училась, сколько новорожденных в городе приняла,— рассердилась неожиданно Кымыс.— Где же я пропадала тогда четыре года? А? Разве вы не слышали, Тарынчак?

— А все-таки лучше бы привезла с собой тетушку Эштен. Ой, Кымыс, милая!— тут же закричала она.

Ту, которая отрежет пуповину новорожденному, алтайцы почитают как вторую мать; «кин-эне» называют ее уважительно.

Еще девочкой Кымыс не раз видела, как на женской половине аила сидела измученная женщина в ожидании ребенка. Над ней, поверх очага, протягивали тугую веревку. Когда начиналось страшное, старухи окружали женщину, поднимали на колени, чтобы она придерживалась за веревку. И тут самая главная, которая вскоре должна стать почетной кин-эне — это и была всегда Эштен,— взяв остренький ножик, распарывала на женщине шубу под рукавами, чтобы просунуть туда свои руки, обмазанные жиром. Дальше все протекало нестерпимо долго и мучительно. Женщина кричала, металась, а у всех на устах были слова, обращенные к духам гор и разным богам: «Кудай-бог, помоги! Потерпи, милая, он поможет. Над тобой Ульгень и солнце! Пусть аил твой окружат стада, пусть ходит по подолу твоему ребенок-богатырь, подаренный светлым богом и батюшкой Алтаем»... И были вот такие же случаи, когда ребенок шел неправильно и ему надо было помогать. А матери Кымыс никто не сумел помочь: ни Эштен, ни Кудай. Кымыс не знала своей матери.

Камылды убежал и не слышал, как закричал ребенок.

Тарынчак, вся в поту, откинув голову на матрац — подушку она давно скинула на пол,— глубоко вздыхая, дрожа губами, следила, как Кымыс быстрыми ловкими движениями делала что-то над голеньким красно-синим живым комочком с круглой черной головкой. Все девочки у Тарынчак рождались с черными головками. Ножницы, пипетка с темной каплей на кончике сквозь красный дрожащий туман и сумрак — верно, от очага, зады-

мившего аил,— мелькали в руках Кымыс, и Тарычак никак не могла спросить, кого же она принесла в мир, и странно — ей, кажется, было все равно. Ей было только хорошо оттого, что кончились боли и уже не повторяются; она знала это, потому что красно-синенькое мраморное тельце с черной головкой находилось в руках Кымыс и, хотя перестало кричать, было живо — это видела Тарычак по тому, как Кымыс улыбалась. Наконец, она справилась с ним, завернула.

— Поздравляю вас, Тарычак! Мальчик! Вы прямо молодец, Тарычак!

Тарычак едва взглянула на поднесенный сверток, попыталась улыбнуться, прикрыла веки.

Когда в аил бесшумно вошел Камылды, навстречу ему, вся сияя, шагнула Кымыс:

— С сыном поздравляю вас, Камылды!

— Правду говоришь?!— заорал Камылды.— Как бы-стро-то!

— Вот, посмотрите сами... Как же, ведь вам надо было мальчика,— так и светилась Кымыс.— Смотрите, настоящий батыр!

— О, куда-ай, неужели мальчик?— Камылды, с ошарашенным видом, отобрал сына у Кымыс и, заглядывая в личико, неуклюже качал его в огромных лапищах, хотя мальчик и не плакал.

Он двинулся было к двери, но Кымыс загородила дорогу:

— Куда? Что вы хотите с ним делать?

— Как что?— удивился Камылды.— Хочу показать дочерям, пусть тоже поглядят на братишку!

— Оставьте его и позовите девочек.

Камылды выскочил из аила, закричал в сторону леса:

— Эй, дети мои, дочки! Идите скорей, посмотрите на брата-богатыря!..

Он тут же вернулся, и, ни на кого не глядя, ринулся к мальчику, и, низко-низко склонившись над ним, заговорил:

— Так, значит, ты сын мой, да? Охотником, говоришь, будешь, сынок? Молодец-то какой, а? На коне будешь

скакать, да? Мальчик-богатырь?— Любуясь, он наклонял огромную голову с черными нечесаными волосами то к одному плечу, то к другому.

Кымыс между тем усмехалась: «Как же, станет он вам охотником, ждите! Вон Нина ваша — девчонка, а даже не думает в селе оставаться, ездила-ездила в город, экзамены в педагогический провалила, а все равно там год проболталась. А вы хотите, чтобы через двадцать лет парень в селе остался. Конечно, охотником будет, как все жители гор. Эрден, брат Монкуша, тоже охотник. Но где он? А ваш, может быть, космонавтом станет. Все мальчишки хотят космонавтами быть. Космонавты, инженеры, офицеры... А кому отары гонять? Вам, Камылды, тогда шестьдесят стукнет...»

У дверей послышался топоток, дверь приоткрылась, и в юрту проскользнули девочки.

— Смотрите-ка, спит мужичок, а на вас и смотреть не хочет,— подозвал их Камылды к люльке, завешенной белым рядом.

— А когда проснется, будет ягодки есть?— отважилась спросить младшенькая и повела крутыми косичками, точно рожками.

— У тебя ягодки, Айкуль? А он только что просил, прямо требовал ягодок. Правда, Кымыс?.. Разве вы не слышали, как он кричал?

— Да он бы и не пришел к нам, если бы не знал, что Айкуль ему ягодки принесет,— улыбалась Кымыс.

— А откуда пришел он?

— Как откуда? Из лесу.

И тут Камылды вспомнил что-то, кинулся к Кымыс, схватил ее ладошки в свои ручки.

— Благодарю, благодарю,— задохнулся он.— Спасибо тебе за сына!

— При чем же тут я?— засмеялась Кымыс.— Скажите спасибо жене.

— Конечно! Это наша мама взяла его,— пискнула одна из девочек.

Кымыс и Камылды оглянулись... Три черные головки почти под линейчку. Помаргивали блестящие щелки глаз.

— Ну нет,— замотал головой отец,— если бы не Кымыс, она опять захотела бы девочку.— Кымыс при этом расхохоталась, и голос ее легким звоном рассыпался по аилу; а Камылды настаивал на своем:— Правду я говорю, Тарынчак, если бы не внучка тетушки Эштен, ты опять взяла бы девочку, а?

Тарынчак была уже другая. Белое, чистое лицо ее, в оправе черных, очень длинных, приглаженных волос, было тихо и покойно. Только глаза улыбались устало.

— Надо барана зарезать, Камылды,— сказала она,— не отпуская без угощения кин-эне.

— Я для Кымыс не одного барана зарежу! Я ей за сына — сразу двух лучших баранов!

— Зачем все это?— протестовала Кымыс.— Мне надо в урочище Ак-кём, на стоянку к Яманай ехать, у нее фурункул на шее, говорят, даже спускалась к деду Абá заговаривать, а Монкуш мешал им, смеялся, и Абá рассердился.

— Лучше не говори, Кымыс, не будет того, не отпущу! Потерпит Яманай, она терпеливая.

— Тогда знаете что? Давайте сразу дадим мальчику имя,— предложила Кымыс.— Марал должен иметь рога, а мужина имя!

— Вот ты и дай,— обрадовался Камылды,— это всегда делает кин-эне.

— А мне не привыкать!— воскликнула Кымыс.— Только скажите, как назвать, по-русски или по-алтайски?

— Как назовет кин-эне, так и будет... Мы на все согласны. Так я говорю, Тарынчак?

Тарынчак молча улыбнулась, смежая ресницы.

— Родившегося в тайге хорошо бы назвать Анчй,— сказала Кымыс.— Он ведь будет охотник, верно?

— Кин-эне дает ему имя Анчи, как по-твоему, Тарынчак? Подходит? Мать детей моих, ты согласна? Тарынчак, а Тарынчак?

— Тихонько! Не будите ее. Когда проснется — договоритесь. Мне кажется, лучшего и не надо. Отца зовут Камылды — Быстростреляющий... А сына — Анчи, Охотник!.. Очень даже подходит: Анчи Камылдович...

В тот день на стоянке чабана Кертешева Камылды, в урочище Карá-Суу, был большой праздник. Быстро зарезал он барана, разрубил на мелкие части жирное мясо, поставил варить. В ожидании свежей баранины они с Кымыс сидели просто так и говорили о том, что травы нынче хорошие, косить уже начали, но главный покос впереди и надо думать, как лучше организовать людей — как бы не утонулись в тайгу.

Вдруг громко взлаяли собаки, Камылды вышел.

Сидя на чурбачке, Кымыс переплетала косу, смотрела задумчиво в красный огонь. До нее донеслось, как кто-то подскочил, и Камылды закричал:

— Откуда, браток? А ты вовремя, у меня новость — сын родился, заходи в аил, почетным гостем будешь.

«Разве у него есть братья?— пронеслось в голове Кымыс.— Ах, это, верно, по племени, как крепки еще наши обычаи...» И вдруг она услышала голос, от которого вздрогнула — показалось, что это Эрден за дверьми аила. Но тут же и поняла, что это младший брат его, тракторист Монкуш. Ну да, она видела трактор, когда с Камылды неслась сюда.

— А я кошу траву, изжога замучила, вот и приехал к вам молочка попить,— говорил Монкуш. И все-таки голос его бередил что-то внутри Кымыс, наполняя ее волнением.

— Понимаю, браток, какая изжога. Поди, чахнешь, как осенний марал. Заходи в аил, тут она.

Монкуш что-то пробормотал.

— Ладно, не притворяйся, браток, и молочка попьешь, и сердце погреешь.

Когда они вошли, Кымыс смущенно сказала:

— А я думаю, какой такой брат к Камылды приехал? Ты, Монкуш, ведь из рода телос, а Камылды алмат, у вас же разные сеоки<sup>1</sup>.

— Один у нас корень, разве ты не знаешь? А еще зовешься алтайкой,— упрекнул Камылды.— Проходи вперед, браток, посмотри на братишку, у которого аил уже не вмещает родственников, число овец несчетно, а имя — Анчи.

---

<sup>1</sup> Себк — род; телбс, алмат, иркйт — названия родов.

Монкуш подошел к люльке, откинул рядом; не оборачиваясь, спросил:

— А кто дал имя мужчине?

И по тому, как была напряжена спина его, Кымыс поняла, что ответ он знает. А Камылды кивнул на нее большой головой: «Конечно, кин-эне»; и по нарочитой поспешности его она видела, что и он о том догадался, и в странном замешательстве стала пояснять, почему назвала так ребенка:

— А ты знаешь, очень подходит: отца зовут Камылды — Быстростреляющий, а сына Анчи — Охотник, — и рассердилась на Монкуша, заставившего ее чувствовать себя неловко.

А Монкуш продекламировал:

— Так, значит, у подножия Уч-Сюмера, в местечке Кара-Суу, родился ныне богатырь по имени Анчи, сын Камылды, пуля которого на землю не падает, сказанное которым навеки запомнится.

И засмеялся, очень довольный собой, будто Кымыс не знала еще в школе этого героического сказания. Вот такой смешной парень. Впрочем, он тут же оглянулся на Тарынчак и виновато спросил о ее здоровье.

— Спасибо, браток, — сказал Камылды, — мать моих детей — женщина сильная, вон какого богатыря родила мне. Значит, имя дали хорошее? — И подмигнул: — Кто вперед придет, тот огонь возьмет.

— А я не возражаю. — Монкуш, поигрывая глазами, снова пошел красоваться: — Кымыс и я — одно целое, разве вы не слышали?

— Хорошо, если так, — посмеялся и хозяин.

— Как тебе не стыдно, Монкуш! — вспыхнула и встала с места Кымыс.

— Ладно, ладно, хохотунья, извини! — Парень поднял темные, в мазуте, ладони и стал рыться в карманах, жалуюсь, что не знает, что бы такое подарить новорожденному братишке из сеока алмат. Наконец выудил патрон, вытащил пульку и подал Камылды: — Пусть ваш Анчи будет метким стрелком!

— Смотри-ка! — прищурился Камылды. — А для девочки ты ничего не прихватил? — Он, будто никогда не

видал свинца, вертел пульку перед глазами в мясистых пальцах.

— Подарок с большим значением,— неожиданно раздалось с кровати; все оглянулись. Тарынчак улыбалась.— Когда отпадет у Анчи пуповина, я зашью ее вместе с этой пулкой в кожаный треугольник.

— Монкуш знал, что подарить!— не без насмешки сказала Кымыс.— Сразу видно внука деда Аба! Только он упустил из виду, что нужен еще треугольник, и непременно из красной кожи. Туда еще кладут клочок волос от первой стрижки и серебряную монету!

К чему это она выпалила — и сама не знала.

— Фью! Внук деда Аба и еще кое-что знает,— присвистнул Монкуш.— Я бы тебе рассказал, да ты не интересуешься.

— Что ж, ответь тогда, почему люди из разных родов, как ты и Камылды, считаются братьями? Не знаешь?

Впрочем, она хитрила. Она сама забыла, почему это возможно, и решила, как говорят, «купить» его.

— А это было давным-давно,— сказал Монкуш и, закрыв глаза, огладил несуществующую бороду — совсем как его дедушка Аба.— Слышал я это вот этими своими собственными ушами,— и он потрогал рукой одно и другое ухо.

Кымыс рассмеялась. А Монкушу, видно, того и надо. Уселся перед огнем, подобрал ноги, пригласил Камылды послушать и продолжал заунывно:

— Жили в белоснежных горах Алтая два брата, два охотника из сеока телос. Настала глубокая осень, земля покрылась снегами, время уже на охоту ехать. Два моих уважаемых предка, два брата, двинулись в горы. Охотились-охотились, много белок и выдр добыли, горностаев и соболей... И вот, перед тем как им возвращаться, один из братьев пропал — словно ветром снесло! А другой, который постарше, искал его, искал, не нашел и вернулся домой. Прошел год, снова осень настала. Снова горы покрылись снегами, и снова надо было на охоту ехать... Когда старший брат пришел к своему шалашу, в нем сидел младший и качал в люльке ребенка. «Чей же это ребенок?» — спросил старший. «Мой сын», — ответил дру-

гой и рассказал, как тогда, в горах, поскользнулся и сломал ногу. И совсем уже находился при смерти. Но явилась прекрасная девушка, и помогла ему подняться, и привела в шалаш. Стали они жить вместе, родили сына. Всем была хороша она: глаза как звезды, лицо светилось, словно снега на вершинах!

Монкуш смотрел на Кымыс. Ему, наверное, нравилась эта легенда, глаза глядели уже серьезно, сосредоточенно и даже ласково, узкое, с крутым подбородком, лицо как бы осунулось и было, пожалуй, даже красиво. Время от времени он обеими руками приглаживал длинные, до самой шеи, черные, совсем гладкие волосы.

И Тарынчак, и Камылды, и девочки, приползшие к очагу, во все глаза смотрели на Монкуша.

— Только была у нее одна странность,— рассказывал он.— Руки прятала всегда в рукава шубы. Это чтобы скрыть, что она снежный человек, алмыс! Ведь и пальцы и ногти у нее такие длинные, что и показать невозможно.

Монкуш снова провел по голове, и Кымыс заметила, что у него и руки и пальцы длинные и сильные. «Вот кому бы хирургом быть»,— подумалось ей.

— Узнала алмыс, что старший брат едет, и убежала в горы. Прощаясь, сказала младшему, что никогда уже не вернется. «Ах, жаль мне ее,— сокрушался младший брат,— такой красавицы не встречу больше». — «Зато сын остался»,— ответил старший.— Родившийся от снежного человека — алмыса, пусть твой сын начнет род алматов». От этого мальчика и пошли на земле алматы. Вот почему мы с Камылды по происхождению братья,— заключил Монкуш.

Мясо сварилось, и Камылды, заслоняясь от пара рукой, вытаскивал его из казана в эмалированный таз. Поставил таз на круглый стол на низеньких ножках и подвинул гостям. Запах свежей, душистой, приперченной баранины поплыл по айлу.

Пока Камылды доставал из самодельного шкафа трехлитровую пузатую банку с аракой, Кымыс отнесла кусочек получше больной, оделила девочек, затем торжественно приняла банку из рук Камылды, налила араки в большую пиалу, отпила и, дополнив, подала хозяину.



Но он затряс головой:

— Зачем мне, сперва пусть попробуют гости. Держи, Монкуш.

Монкуш поднял пиалу с аракой:

— Тарынчак и Камылды! Поздравляю вас с сыном! Пусть ваш очаг никогда не погаснет, пусть варится на



нем жирная пища, пусть будет у вас полный аил детей — да продолжится род алтайцев!

Кымыс почему-то не казалось уже смешным, что голос его и манера напоминали голос и манеру Аба, а было ей даже как-то тревожно.

Долго еще угощались в аиле Кертешева. Когда солнце

начало клониться к западным гребням гор, Кымыс поднялась:

— Мне пора. Поправляйтесь, Тарынчак, будьте счастливы.

Тарынчак зашевелилась, быстро-быстро заговорила, а глаза ее наполнились слезами:

— Прости меня, дурочку, Кымыс, милая, не сердись на меня, что я...

— Ничего, Тарынчак, главное, все обошлось, выздоравливайте и не думайте ни о чем. Давайте я положу к вам Анчи, хотите?

— Да, да, спасибо... А то заночуй у нас, а? Как мы рады-то будем...

Но Кымыс все же торопилась к Яманай.

— А жаль,— ухмылялся хозяин,— это ты все, Монкуш! Пусть бы дед Аба заговорил чирьяки, жалко тебе, что ли?— И подмигнул ему:— Гляди, полный загон баранов, выбирай любого и справляй себе свадьбу. Требуется совсем немного: согласие жениха и невесты.

— А в чем дело, я же согласен!— вскочил на ноги Монкуш.

Кымыс кинула тяжелую косу с груди на спину, чуть не хлестнув Монкуша, и решительно направилась к двери.

— До свиданья, мир дому сему!— попрощался той же минуткой Монкуш и бросился за Кымыс.

— А молочка-то не попил, браток!— затрясся от смеха Камылды.

— Прошла изжога!— захохотал и Монкуш.

Кымыс направила коня в горы, ничуть не заботясь о том, что Монкуш ехал за нею след в след. Солнце быстро садилось, сумрак и сырость уже охватывали Кымыс, а она даже не понукала лошадь и не оглядывалась. При людях Монкуш всегда ерепенился, иногда это становилось какой-то дурной игрой, но она не помнила, чтобы он вел себя с нею так же один на один. Впрочем, они остались вдвоем в горах впервые. К тому же он выпил. Кто его знает, что придет ему в голову. Она слышала четкий звук подков его лошади и только крепче сжимала плеть.

И когда в открывшейся долине показались загоны и огонек фонаря, бродивший в темноте, ей почудилось, что, кроме шума и скрипа кедрача, она уже ничего не слышит. Тогда она остановила коня и прислушалась. Но стучало только ее сердце. «Что это,— подумала она,— неужели просто так проводил? Скажите, какой кавалер!»

Кымыс расхохоталась. Напряжение, видно, все же держало ее и теперь отпустило, и ей действительно было очень смешно, и смех ее звенел над поляной, словно деревья трясли хрустальными колокольчиками.

Она все еще смеялась, когда огонек впереди двинулся в ее сторону и внезапно погас.

— Это ты, Кымыс?— донеслось из темноты уже совсем близко, и тут же вспыхнуло в круге света морщинистое женское лицо, обмотанное платком.

— Здравствуйте, тетушка Яманай!

— А я думаю, уж не дух ли какой смеется там надо мной? Потом вспомнила, никто в Куулгы не смеется, как Кымыс. Тебя-то мне и надо, милая...

## 2

Такси замедлило бег, плавно свернуло вправо, съехало с шоссе на грунт.

— На данном этапе Чуйский тракт отслужил нам,— сказал Эрден несколько торжественно, обернувшись к жене, устроившейся на заднем сиденье среди сумок, свертков и коробок.— Вот она, куулгинская дорога!

— Дорога в твое сердце!— не менее торжественно произнесла Фатима, но ее смуглое, продолговатое, с чуть заметными скулками, строгое лицо пыталось скрыть насмешку — или так показалось Эрдену? Но тут их потрянуло, и она рассмеялась, сверкнув большими карими глазами.— Ох, какая она ухабистая!

— А у нас в горах немного гладких путей, верно, друг?

— Во всем Горном Алтае только и есть Чуйский тракт,— отозвался таксист, поняв, видно, прямо.— Это, майор, я только ради вас согласился.

— Отзывчивость вашу мы не забудем, друг!

Эрдена положительно тянуло на торжественность. Он, взрослый, тридцатидвухлетний мужчина, офицер, впервые едет в родное село с женой... Долго почему-то не женившийся, он женился вдруг, почти не раздумывая.

Фатиме двадцать девять. Она умна, насмешлива, Эрдену нравилось, что слова сами собой слетали с ее языка. Высокая, тонкая, она была медлительна в движениях. Эрден любил смотреть на ее длинные ноги и руки, неторопливые и все же ловкие.

Дорога то поднималась на бугры, похожие на перевернутые казаны, то спускалась в котловины. С обеих сторон ходили волнами под ветром негустые хлеба. Горы, мирно дремлющие под солнцем, обступали путников.

— Осторожней, задавите! — подскочила Фатима.

— А, суслик, их тут тысячи, — отозвался шофер. — Портят они покосы, хлеб травят. Во время войны да и после мы, ребяташками, сдавали их шкурки в госторг, а взамен получали муку, сахар, капканы.

— Жизнь другая, — сказал Эрден, вспоминая бесовскую радость при виде суслика в капкане.

Из-за них мальчишки разбивали друг другу носы, воровали капканы, бросали учиться. А с каким нетерпением ждали, когда вылезут из нор суслики. Они появлялись в первой половине апреля. Земля сырая, холодная. Особенно по утрам. Ох, как холодно было и больно ходить по ней босиком!

— Вон, вон, опять через дорогу юркнул! А их едят, Эрден?

Хотя Эрден и вспомнил, как он каждый день варил и жарил и с каким аппетитом съедал сусличье мясо, спасавшее его от голодной смерти, признаться в этом почему-то не смог.

— Говорят, они полезны для легочников, — ответил вместо него шофер. — Лично сам я не пробовал.

— А ты, Эрден?..

— Они питаются лучшими корнями, — уклончиво сказал Эрден, — думаю, можно есть, ничего не случится...

Когда машина, сделав множество витков и поворотов, выползла на седловину горы, что высилась над обширной

долиной, внизу под нею открылось селение: дом, рядом юрта, изгородь, дом и опять юрта.

Эрден дотронулся до плеча шофера:

— Остановимся, друг.

Фатима долго молча стояла, наблюдая с высоты за жизнью внизу.

— Вот где прячется твоя Куулгы,— сказала она наконец.

Там и тут дымились аилы. Эрден пытался отыскать дом деда Аба. Казалось, все дома тоже заметили его и уставились окнами. И аилы наблюдали, что за гость там прибыл с Эрденем. Вчера он дал телеграмму, что приезжает, и теперь не знал, за кого больше тревожиться: за Фатиму, за своих стариков или за Куулгы.

Когда-то он бегал по улицам среди этих домов и аилов, гонял телят, ходил в школу... Школы старой сейчас не видно, новая, кирпичная, двухэтажная, высится над поселком — ряды окон словно у городской.

Нет, совсем другая стала Куулгы. Вон какие дома понастроили под белым шифером — разве разглядишь за ними старый дедушкин? А когда-то он казался самым большим и значительным...

Строения словно раздвинули горы, было похоже, что в дремотное горное озеро бросили с вершины большой камень,— и пошли, пошли от него круги, все шире и шире... А горы, словно старики седые на собеседовании, курили трубку за трубкой. Аилы курили, и горы курили — нравилась им новая Куулгы.

— Что мы тут стоим, Эрден?— повернулась к мужу Фатима.

Он глянул пристально:

— А что, тебе не нравится?

— Да нет, славно. Конусы, конусы, вперемешку с домами. Я просто что-то устала.

— Не конусы, а юрты это, аилы. Летом в них очень хорошо.

— Слушай, а ты в таком аиле родился, да?

— Нет,— вскипел вдруг Эрден,— я родился во дворце белокаменном!

— Ну что ты, Эрден?— Фатима побежала за мужем,

и тоже залезла в машину, и тоже хлопнула дверцей.

«Аил для нее — экзотика, «конус», — молча и сердито усмехался Эрден. — Чужая — и есть чужая».

Молчала и Фатима.

— Стоп, друг, приехали!.. — сказал угрюмо Эрден и первым вышел у аила, почти примкнувшего к пятистенному, приземистому дому, посеревшему от дождей и снега. Около него толпились люди в шубейках и просто в плащах и рубахах.

От людей отделилась и побежала навстречу Эрдену, вытянув смуглые скрюченные руки, чернявая, сморщенная старушка. Эрден рванулся вперед, улыбаясь и приговаривая, как ребенок: «Якши ба, здравствуй, здравствуй, моя карган-эне, моя старая мама!» Обняв маленькое, худое ее тело, он надолго прижал к себе бабушку.

За старушкой двинулся сутулый, невысокий старик в дубленой шубе, накинутой на плечи, в мягких кожаных ичйгах<sup>1</sup> на кривых ногах. Старик старался держаться прямо, задира л голову, темные глаза его были пронзительны и спокойны, а Эрден, дрогнув сердцем, отметил, что за этот год еще больше усох его дед.

— Здравствуйте, дедушка Аба!

— Наконец-то прибыл, сынок! Смотри, я уже должен задирать голову, чтобы глядеть на него.

Старая Тарй плакала и смеялась, вытирая кончиком красного кушака лицо, любовалась Эрденем и не могла найти слов, чтобы выразить радость и волнение.

Эрдена окружили, протягивали руки, улыбались, расспрашивали.

— Якши ба, Эрден!

— Якши...

— Как доехал, Эрден?

— Якши, хорошо...

Каждый, здороваясь, успевал что-то сообщить, спросить о чем-то. Эрден тоже соблюдал обычай и тоже расспрашивал:

— Ну как, здоров ли отец твой?

— Здоров, спасибо... Долго погостишь, Эрден?

---

<sup>1</sup> Ичйги — сапоги.

Потом снова:

— Якши ба, якши ба! Как растут, здоровы ли дети? Здоров ли скот? Здоровы ли сами?.. Заходи, Эрден, в мой аил, большим гостем будешь... И меня не забывай, Эрден, нам есть о чем вспомнить, поговорить...

Наконец он вырвался из почетного окружения и направился к жене, все еще стоящей у машины. Все разом повернулись к ней.

Эрдену показалось, что это синие брюки в полоску и плотно сидевшая белая водолазка сделали ее фигуру такой вытянутой. Маленькая стриженная черноволосая голова напряженно застыла. И только покачивались у длинной шеи тяжелые янтари.

Когда Эрден подошел, она шепотом вдруг спросила: «И мне со всеми поздороваться за руку?» И за милый, доверчивый этот шепот он разом отпустил ей все грехи. «Сперва с бабушкой и дедушкой, а там видно будет», — так же тихо шепнул он и представил жену старикам:

— Вот она, Фатима, ваша сноха, старая мама...

Тари, будто давно знала Фатиму, просто и ласково произнесла:

— Здравствуй, балам!<sup>1</sup> — и первая привлекла ее к себе, обняла матерински нежно. — Как доехала, балам?

Фатима улыбнулась и тоже сказала просто, как учил ее еще дома Эрден:

— Якшилар ба, эне!<sup>2</sup>

И всем показалось, будто она хорошо говорит по-алтайски. Такой уж талант у Фатимы на языки. А слово «эне» теплой струей ударило в сердце старенькой Тари. И кругом зашептались, наполовину по-алтайски, наполовину по-русски, до Фатимы долетали обрывки фраз: «Слышали, по-нашему говорит. А, какая разница, теперь все люди одинаковые...»

Тари, взяв за руку Фатиму, повела ее к деду, который ждал поодаль. Лыдинка, вонзившаяся ему в грудь в момент получения телеграммы, все еще не растаяла.

<sup>1</sup> Балам — дитя; здесь: дочка.

<sup>2</sup> Эне — мама.

Фатима смело протянула руку, но большие карие глаза ее смотрели на старика почтительно-покорно и с любопытством:

— Якшилар ба, дедушка Аба!

Сам того не ожидая, старик сделал порывистое движение вперед, подал Фатиме обе руки, показывая всем свое уважение к ней и нежность.

Горло Эрдена перехватило, но он расправил еще больше широкие плечи, сведя в линию брови, сомкнул твердые губы.

Аба посмотрел на него помолодевшим взглядом и весело произнес:

— Теперь, дети мои, остается мне дожидаться часа, когда хоть краешком глаза гляну на детей ваших,— тогда можно и умирать.

— Зачем, дедушка Аба, спешить туда?— улыбнулся Эрден и спросил:— А где брат мой, Монкуш?

— Монкуш приедет под вечер,— ответила Тари,— он в урочище Кара-Суу косит трактором траву.

Бачиматов Кара́ был в Куулгы самым старым человеком. Сам он считал, что ему пошел восемьдесят шестой год. И никто не называл его по имени, а все обращались уважительно: дед Аба.

Алтайцы людей старше себя собственным именем не зовут. Снохи, внуки, племянники находят особые имена старикам, а вместе с ними и все вокруг привыкают выказывать им особое уважение. В самом деле, кто же назовет одним простеньким, еще детским именем человека, у которого давно выпали зубы и волосы побелели, как шерсть у зимнего зайца. Некоторые даже не знают точного имени того или иного почтенного старца, знают только уважительное звание. Это и понятно — старого человека надобно величать. Это неплохо. Даже надо сказать — хорошо!

Вот многие и не знают, что у деда Аба настоящее имя Кара. Нет в Куулгы человека старше Бачиматова Кара. Пожилые считают его ярлыкчй-кижй — проповедником белой веры, ясновидящим даже, допущенным говорить

с богами Бурхánом и Ульгéнем<sup>1</sup>. Многие бегали к нему, чтобы узнать судьбу,— говорили, дед может предвидеть. А молодые люди прозвище «ярлыкчи» пропускают мимо ушей. Ярлыкчи так ярлыкчи.

Еще в ту пору, когда во всем аймаке не было ни одного врача, дед сращивал переломы, ловко правил вывихи. Ходил из аила в аил, ездил даже по селам. И надо признать, был он мастером этого дела, и люди были ему благодарны.

Молодежи нравилось расспрашивать его о шаманах. Да Аба и сам любил вспоминать о временах, когда сжигали камов<sup>2</sup>, знавшихся с подземным дьяволом Эрликом.

Когда на древнем Алтае зарождался бурханизм, Аба был не Аба, а молодым парнем Кара. И он уверял, что не только видал, как жгли камов, но и участвовал в их сожжении.

— В самом деле их жгли, камов, дедушка Аба?

— А что ты думаешь?! Белая вера несла чистоту и святость. А шаманы призывали на помощь подземного Эрлика, их вера черная, нам не годится.

Историю народных движений дед путал и смешивал с легендами. Рассказывая об Ойрót-Каáне, Амыр-Сáне, Калдáн-Церéне, он уверял, что видел их «вот этими собственными своими глазами и слышал вот этими своими собственными ушами», и в пылу воодушевления не замечал, как начинал привирать.

Впрочем, Эрден и Монкуш слушали его рассказы с удовольствием. Набьются в аил куулгинские мальчишки и парни и тоже охотно слушают, как готовился народ под знаменем Амыр-Сана к возвращению на Алтай Ойрот-Каана, как начали камов жечь. Дед поглаживал негнушимися пальцами седую голову, раскуривал трубку, задумчиво смотрел в дымовое отверстие вверх аила и вел свою «правдивую сказку»:

— Я сам сжигал камов в Терén-Кообы.

Сказки эти Эрден и Монкуш знали уже наизусть и все равно любили — больно увлекательно и страшно рас-

---

<sup>1</sup> Бурхán и Ульгéнь — боги добра.

<sup>2</sup> Кам — шаман.

сказывал дед. Став постарше, Эрден, а за ним и Монкуш научились подзадоривать деда, спорить с ним, схватываться.

— А говорят, в Терен-Кообы кое-кто из камов сумел вылететь в дымоход, правда, дедушка Аба?

— Кам Калпас превратился в коричневый камень и остался нетронутым в огне,— уверял Аба.— Говорю вам, были, правда были среди шаманов такие необыкновенные.

— Ну, хватит! Ба-таа!— остановит Тари, огладив по привычке коротенькие косички<sup>1</sup>.

Но Монкуш не унимается:

— А вылетавших в дымоход вы видели, дедушка Аба?

— Нет, вот этими своими двумя не видел. Те, которых жгли в Терен-Кообы, вроде бы не вылетали... Не помню. Но своими ушами слышал, что кам Тостогош из нашего племени иркитов, взявши под мышки внука Качи, тоже кама, вылетел в дымовое отверстие, превратился в лебедя и скрылся в небе... От наших иркитов этого можно ждать... Да, можно... Иркиты — необыкновенные люди!

— Это не для них ли собачье мясо лучше бараньего?<sup>1</sup> — громко захохочет Монкуш.

Аба помрачнеет — туча тучею, покашляет и умолкнет, тогда надолго.

Видя, что старик осердился, Монкуш начнет ласково подъезжать:

— Значит, вы не только в Ак-Бурхана, но и в некоторых камов верите, Аба?

Аба жмурил глаза, словно к чему-то прислушивался и таинственно с кем-то общался. В этот миг он впрямь напоминал мудреца, которому все видно, известно, понятно.

— Каким бы ты ни был комсомольцем, Монкуш, знай, что без бога ничто на белом свете не существует.

— И дождевой червяк создан богом?

---

<sup>1</sup> Прежде алтайки гладили косички в знак уважения или просто при упоминании о боге.

<sup>2</sup> Иркиты променяли барана на собаку — алтайская поговорка.

— И та-тай!— брезгливо восклицал старик.— Бога нету, наверное, только для тебя и червяка.— Воздев сухие руки к небу, запрокинув маленькую седую голову, Аба подолгу смотрел в дымоход; очнувшись и как бы возвращаясь с того света, снова принимался за свое: — Даже волк живет с разрешения бога. Как ты думаешь, почему он воет, задрав морду к небу? Пищи просит у бога. А бог-то, глядишь, и пошлет ему зверя или скотину. Так что бога следует уважать, не забывать ни в радости, ни в беде.

— Аба,— вступал уже Эрден серьезно,— но если бог жалеет человека и всех живущих на земле, то отчего же он не останавливает войны? Он бы сделал, чтобы люди не враждовали...

— Ишь ты какой!— дернется дед.— Ты не поддевай меня, а разумею, что говорю: бог создал человека для жизни, а если человек и умирает, то душа его, дух его остаются живы.

— И бродят в горах?

— А как же! Следят, чтобы порядок был на земле. Вот наши маралы — животные священные, и горные духи...

— Расправляются со всеми, кто их убивает!

— А как же! Иначе порядка не наведешь. Садраша ты помнишь?

Как не помнить Садраша!.. Случился в тайге пожар. Все жители на борьбу вышли. Трудно приходилось людям, а звери просто обезумели от огня и дыма. Выскочил из огня марал, стал носиться туда-сюда, взметывать рогами. Не смог равнодушно смотреть на это парень по имени Садраш и пристрелил марала.

Уставший, он съел шашлык из маральего мяса, расседлал коня, концом аркана обмотал себе ноги, чтобы конь не ушел. И задремал. А конь молодой, строптивый. Испугался какого-то рыка звериного — мало ль зверья в тайге — и устремился в горы. И поволок человека. Погиб Садраш!

— Бог все видит! Сколько раз говорил я, что маралы священные, не надо их трогать,— сокрушался Аба.— Вот беда и приключилась. И что за молодежь пошла?.. Надо же думать, слушаться старших...

И многие верили деду Аба, и не только старые... Эрден не верил. Не верил тогда, а теперь и вовсе он, офицер, не мог допустить, чтобы бред этот пугал жителей гор. Да, все началось с марала...

Старый, но еще добротный аил Аба, крытый лиственничной корой, дымил вовсю, привлекая гостей. Люди приходили, присаживались к очагу за низенькие составленные столы, угощались и уходили, их сменяли другие. Молодежь толкалась во дворе, в доме крутили проигрыватель. Эрден появлялся и там и тут, но больше сидел со старшими. Он сызмальства знал их всех: толстую добродушную тетушку Эштен, принявшую своими руками добрую половину села; верткого, умного Кейлюка, организатора первой коммуны здесь; длинного, сухого, как старая коряга, деда Кондюбея да и всех остальных тоже.

И Фатима приклеилась к месту. Впрочем, не мудрено: на них с Эрдепом смотрели, за них поднимали тосты, их расспрашивали о Дальнем Востоке, о порядках в армии и вообще обо всем, что приходило на ум.

— Пейте, пейте, гости дорогие, — суежилась Тари. — Кушайте, одним разговором сыты не будете.

— Этот благословенный чоочей<sup>1</sup> я выпью за келин<sup>2</sup> почтенного Аба, пусть ей улыбается счастье, — говорила дородная Эштен. — Ведь это я назвала ее муженька Эрдепом! Я его кин-эне, счастливое дала имя, глядите, как помогло — Фатима влюбилась!

Все зашумели, захлопали, спешили прибавить свое:

— Чтобы подол ее не пустовал, пусть на нем играют дети!..

— Журавушки всегда летают парой...

— Река за собой ручейки увлекает...

— Человека в горах узнают по слову, дорогая Фатима, однако слово — цвет, а плод у слова — дело, мотри у меня! — говорил дед Кейлюк.

В самый разгар веселья во дворе закричали:

---

<sup>1</sup> Чоочей — пиалы для араки.

<sup>2</sup> Келин — невестка.

— Монкуш приехал, Монкуш! Посторонитесь, дайте пройти, пусть поздоровается со старшим братом и снохой.

Все на момент притихли. Раздвигая плечами людей, к столам пробирался Монкуш, на ходу приглаживая пятерней длинные черные волосы. Они выглядели странно в сочетании с цветастой рубахой, выпущенной поверх промасленных брюк, заправленных в кирзовые сапоги.

Фатима во все глаза смотрела на него, а Эрден долго тряс руку брата, бормоча:

— Ну, Монкуш, ну, Монкуш, так ты выше меня на целую голову!

Монкуш переминался с ноги на ногу, улыбался и не говорил ничего.

Братья были мало похожи, кроме того, конечно, что оба рослые, черноголовые. Но жесткие волосы Эрдена ежиком облегли его крепкую голову, а у Монкуша спадали мягкой гривой на воротник. Глаза у Эрдена колючие, хваткие, так и цепляются, а у Монкуша простодушные, насмешливые, а порой озорные. И лицо у Эрдена жестче, значительней, и характером он отличался от брата: нервный, настороженный, слишком, пожалуй, серьезный, сосредоточенный. А Монкушу только балагурить. Все это уже знала Фатима.

— Познакомься, Фатима, это наш Монкуш.

— Вижу, что это наш Монкуш,— карие большие глаза ее смеялись.— Проходи, Монкуш, садись вот здесь, со мной и Эрденем. Ах, Эрден, да он у нас просто красавец, я и представить не могла, какой у него богатырский вид!

Монкуш под ее взглядом только плечами покачивал, того и гляди, повернет назад.

— Ты что это?— прикрикнула Тари.— Уж не брата ли старшего застеснялся? Садись, не чужие они.

Монкуш сел и тут же уткнулся в тарелку с супом.

Кругом заговорили о том, как бы радовалась сейчас Мекечи, мать этих братьев, если бы только была жива. А какая она была добрая, безответная. А как долго и безуспешно ждала мужа с фронта... А как неутешно было горе ее, когда... Впрочем, жизнь есть жизнь и если преподнесет невзначай цветок, радуйся, приколи к волосам...

Заметив, что Эрден нахмурился, тетушка Эштен весело затряслась всем телом:

— Время, время — конь необузданный! Были и мы молодыми, да состарились. И детям нашим не ходить пешком, и под ними гарцует иноходец быстроногий!.. Вот и Монкуша скоро женим! А, Монкуш?

— Мы ему привезли костюм к свадьбе, — сообщила Фатима, посмеиваясь.

Тари так и расцвела:

— По нашему обычаю он приходится тебе сыном, ты его и должна женить.

— Да костюмов у него хватает, — вставил дед Аба, — а вот найдется ли добрая невестка нам?

— А мне сорока-белобока на хвосте принесла, что в Куулгы немало красавиц. — Фатима искоса взглянула на мужа.

— Это я рассказывал ей про вашу Кымыс, тетушка Эштен, — вмешался Эрден. — Как приехала она в прошлом году из фельдшерского училища, я не узнал: хорошенькая, смелая, веселая! Да где она? Кто видел Кымыс?

— Она к нам в аил не заглядывает, — неожиданно напустил на себя важность дед Аба. — Молодежь нынче не очень уважает старших, не нравится ей, видишь ли, когда я предсказываю что-нибудь или что-нибудь внушаю.

— Ах, Аба, вы так неприветливы с девочкой, — поджала губы тетушка Эштен. — А между прочим, она тоже людям много помогает.

— Ну что вы, тетушка Эштен, — громко сказал вдруг Монкуш, багровый от усталости, еды и араки, — один только наш дед Аба знает в человеке каждую косточку, где и как она расположена, а современная молодежь, какой-то там фельдшер, и понятия о том не имеет.

— А может быть, ты знаешь? — нахмурился Аба.

— А мне это ни к чему. Вы знаете косточки моего трактора?

Старик закипятился:

— Твой трактор не боги сотворили, он же... он же... это железо!

— А я вот все «косточки» его знаю!

— Журавль — птица болотная, как расхвастается, так и сядет на лиственницу.

— Хватит, хватит, Монкуш, стыдись спорить с дедом!

Но Монкуша уже понесло. Поглядывая на брата, словно призывая его в соучастники их детской игры, кося черным сметливым глазом на невестку, приглашая ее полюбоваться их дедом, он закачал головой, доказывая, что все, конечно, зависит от бога, от батюшки нашего Алтай-кудая. А ведь бог за деда еще и покарать может. Покарает он, конечно, и русских, приехавших в горы: с разрешения охотничьего общества они убили сразу шесть маралов.

— Ба-таа! Что ты говоришь? Ты сам это видел?— так и подскочил Аба.

— Как вы думаете, Аба, что же теперь будет с охотниками?

Дед сощурил глаза, разгладил костлявыми пальцами седые серые волосы и, смотря сквозь белые ресницы в тлеющий огонь, стал раздумывать.

Потом, не торопясь, приподнял голову и, глядя в дымоход, зашевелил бледными старческими губами, будто шептался с кем-то или считал клочья облаков, плывущих над аилом. Достав из костра головешку, он прикурил от нее, краешком глаза наблюдая за Монкушем, и неожиданно весело произнес:

— Мысленным взором вот этих двух своих глаз обещал я вселенную из конца в конец, вот этими своими ушами прислушался, что творится там, и понял: с русскими теми ничего худого не приключится!

Монкуш удивился — он никак не ожидал такого ответа:

— Разве они не такие же люди, как мы?

— Такие! — отрезал дед. — Только вера у них другая, балам, а значит, и бог другой, и обычаи.

— Допустим, — согласился Монкуш. — А вот село Кайру не так-то уж далеко от нас, всего лишь за перевалом. А парни там повсюду быют маралов, и ничего страшного с ними не приключается.

— Всего лишь один перевал, говоришь? — Аба улыбался и вдруг как топором отрубил: — А ты знаешь, что

кайрунские горы разделены с нами священным Уч-Сюмером, их подземные корни не доходят до великого Уч-Сюмера. Нету там гор, опрысканных святым молоком белой кобылицы. Потому и маралы там не принадлежат хозяевам гор или горным духам...

— Ну ладно, пусть Уч-Сюмер священный,— не унижался Монкуш.— Но если маралы спустятся в долину Ойдык-Мош, тогда можно стрелять?

— Что ж, ежели так далеко отойдут, то можно,— милостиво согласился Аба.— Стало быть, бог и духи его святые дали на то разрешение...

— Ага, значит, в долине Ойдык-Мош, говорите, можно?— Монкуш неудержимо захохотал.— Надо будет их, маралов-то, нагнать туда, скажу об этом ребятам! Тогда и Щербаков ваш не поможет. Ты помнишь, Эрден, Щербакова? Учился с тобой в Онгудае? Теперь он егерь на нашем участке.

Тут Аба не выдержал, сердито прикрикнул:

— А ну, хватит, молокосос, перестань!

Но был он совсем не страшен, а только забавен, и все ухмылялись: и Тари, и тетушка Эштен, и даже дед Кейлюк, и дед Кондюбей. И что тут сделалось с Фатимой! Решила, что она умнее деда, раз не верит ни в каких богов. А может, забыла насчет почитания старших? Или просто устала с дороги — с непривычки ей было жарко в аиле, глаза от дыма слезились и в носу щекотало. Только она поднялась, будто кончая спор, засмеялась и, покачивая янтарями у длинной шеи, громко сказала:

— А вы знаете, дедушка Аба, Эрден ваш тоже привез лицензию.

— Что он привез?

— Разрешение на отстрел марала.

— Что ты говоришь, Фатима?— возмутился Эрден.

Но все как-то враз замолчали и по его лицу и по лицу Фатимы угадали, что она сказала правду.

Аба встал и, маленький, сгорбленный, долго и тускло молча смотрел на внука. Потом повернулся, пошел к двери. И люди перед ним расступались.

— О, балам!— закричала Тари Эрдену.— Беги за ним, догони, скажи, что это неправда!

— Разве так можно?— зашептались, зашушукались гости.— Обидеть так почтенного Аба!

Монкуш сорвался, выбежал вслед за дедом. Что он там говорил ему, неизвестно, но только вернулся со стариком, и все были рады и говорили шумно. Но все равно праздник был испорчен. Фатима поднялась и ушла в дом отдыхать. Никто этого, впрочем, и не заметил...

3

В колхозе всегда работы по горло. Подойдет весна — посев, окот, стрижка овец. Осень нагрянет — уборка хлеба, вспашка зяби, ремонт скотных дворов. Люди все дни на работе, некогда на охоту сходить. Тянет, конечно, в горы, но сами себя утешают: «Зачем охотиться-то, когда и так всего хватает? Так только, разве развлечься, отдохнуть...» А дед Аба возгордился: «Послушался меня народ, перестал маралов стрелять».

Дни шли и шли. Однажды к Аба заехал незнакомый русский. Пил чай, долго беседовал. Был он рыжий, большой, весь в веснушках, даже руки. И хотя молодой, бороду имел с лопату, которой гребут снег во дворах. Говоря по-алтайски, он проглатывал слова, захлебывался, получалось очень смешно.

— Что такое тотемизм, ты знаешь, Аба? Как толкует его наука?

Аба не понял, но, подумав над словом «наука», испугался и опустил глаза. «Может быть, от милизии?— размышлял он.— Неужели забрать приехал?»

— Нет,— выдавил из себя дрожащими губами и поднялся перед незнакомцем.— Я больше ни в каких богов не буду верить! Не увози меня, старик я,— прошептал он, и даже слезы показались на глазах.

— Да нет, дедушка,— успокаивал русский,— ты не бойся, я твой некер-друг буду.— И он выложил на столик пачку чая.— А это табак, крепкий... На, бабушка, возьми,— протянул он табак Тари, сидевшей на женской половине аила и все слышавшей.— А зовут меня Михаил. Михаил Щербаков. Теперь понял, дедушка?.. Будем некер-друзьями!..

Аба удивился. Смотрел на незнакомца с подозрением и продолжал оправдываться:

— Я старый человек, мой баранчук в армии,— решил он пустить Эрдена как козырь,— большой начальник там... А я больше не буду говорить, что есть на земле духи и хозяин гор.

— То есть как это нет хозяина гор?— удивился и рассмеялся Шербаков и большой, обросшей рыжими волосами рукой легонько похлопал деда по плечу.— Дед, ты всем говори, что горные духи есть, существуют и что маралы священны и стрелять их нельзя...

Старик долго сидел, пораженно уставясь потухшими глазами на странного русского. Разве есть среди них такие, чтобы перили в горных духов?

— Есть хозяин земли, есть хозяин воды,— не унимался Шербаков, размахивая рыжими руками и захлебываясь словами.— Они-то и следят, чтобы маралов не убивали. Марал — тотем для алтайцев. Чуешь? Отсюда и тотемизм,— веско говорил он, и слова его, конечно, точно ложились в цель.

На прощание он еще раз пристально посмотрел на деда и, будто только что вспомнив, сказал:

— А я ведь знаю вашего Эрдена, вместе учились в Онгудае.

С того дня Аба стал не Аба. Помолодел на несколько десятков лет, ходил легко, со всеми разговаривал, всем, кто заглядывал к нему в аил, не забывал напомнить о русском друге и, как всегда, прихвастнуть.

— Слышал, ко мне большой человек приезжал из Москвы, ученый? Вот подарил даже чай и табак. Слышишь, Тари? А, Тари?— кричал он.— Покажи гостю, какой он привез нам табак.

— А вы его раньше, что ли, знали, Аба? Зачем он приезжал-то?

— Да говорит — есть хозяин гор! Вот этими двумя ушами сам от него слышал,— оживленно передавал старик.— Оказывается, он и меня знает, и Эрдена нашего.

Монкуш и его приятель Ямандик, из тракторной бригады, услышав про такие чудеса, пытали Аба:

— А как зовут ученого-то, дедушка?

— Сказал он мне свое имя. Обожди, как же его?.. Обожди, обожди... Да вот призабыл, вот тут вертится, а не вспомню. Подожди, не уходи. Как же его звали? Тари, а, Тари, как звали-то ученого из Москвы?

— Кажется, Мыкаил.

— Слышали? Да, да, Мыкаил он, она вот не даст соврать. Мы долго чаевничали. Да, точно, Мыкаил Щербак он.

Монкуш и Ямандик расхохотались.

— Да никакой он не ученый, дедушка Аба!— всхлипывал от смеха Монкуш.— Был у вас егерь Щербаков из охотобщества. Ну да, они с Эрденем учились, а теперь он егерем, разыскивает и штрафует, кто охотится без разрешения. Такая уж у него работа.

Аба не поверил, пустился в спор:

— Он же сказал, что ученый!

— Так, наверное, пошутил.

— Такие люди не шутят, зазря не хихикают, это раз. А во-вторых, он сказал мне, что хозяин гор существует — и точка! Вот этими ушами слышал.

Ребята знали егеря Щербакова. Куулгинские горы входили в его участок. Участок был велик, егерь не справлялся с нарушениями и придумал, видно, уловку. Решил подключить Аба к своей службе. Ну и ну! Однако какое дело Монкушу, пусть старик утешается.

А Щербаков стал частенько наезжать к Аба, всякий раз привозил какой-то подарок, подолгу беседовал.

— Ваша тайга и правда священна, дедушка,— не забывал он напомнить.— Мне и кайрунские жители говорили. Если кто-то поранит там марала, а он перевалит на эту сторону, то его не преследуют.

— А вы что думаете, я вру или шучу?— приосанивался Аба.— Наши реки неприкосновенные — не ставьте ловушки на выдр их, наши горы священные — не трогайте маралов их...

Щербакову только того и надо.

— Верно,— поддакивал он, выкладывая чай на стол.— Цейлонский, понюхайте.— И любил заводить разговоры про свой «тотемизм». И все просил разъяснить его людям.

Однажды он появился мрачный, присел к очагу и

долго оглаживал плоскую бороду, еще более красную в отсветах огня.

— Что делать-то, дед? Что делать? Майчиков ваш завалил, говорят, рогача. Несколько месяцев назад. Не докажешь, но все к тому сходится. А такой человек, и разговор-то поднимать совестно.

— Майчиков?! Пырсытачил колхоза? Вот оно как!

— Чин-чин, да-да, правда.

Дед смотрел остолбенело, потом встрепенулся и ахнул, сам пораженный сделанным открытием:

— Вот почему у него весной сдохла свинья! И какая свинья была!.. Подозревал я, что дело нечистое, подозревал... Он же алтаец, пускай и пырсытачил...

— Что ты говоришь?!— вроде даже обрадовался и захлебнулся словами Щербаков.— Ох, дедушка Аба, ты при случае сам поговори с ним, а главное — с женой его, с людьми вокруг, понимаешь?..

И дед ходил от аила к аилу, разговаривал, страшал, приводил в пример сдохшую председателю свинью. Кто посмеивался, кто на ус наматывал, но разговаривали с дедом все одинаково уважительно...

Все это произошло за год между прошлым приездом Эрдена в Куулгы и теперешним. Когда ему рассказали о Щербакове, он рассердился, прямо-таки вышел из себя. А тут еще Фатима проговорила о лицензии. Лицензию он на самом деле приобрел, но еще не знал, воспользуется ли ею. С одной стороны, давно хотелось доказать деду, что алтайцы такой же народ, как и прочие люди, что никакая особая власть алтайских богов над ними не довлеет, что дух и воля их также свободны, как у русских. С другой стороны, не хотелось огорчать деда: кто знает, не рассердился бы навек старик. Хотя нрав у него никогда не был крутым. Однако же мать Эрдена, Мекечи, почему-то его боялась. Или уж так уважала? Эрден всегда думал об этом: боялась ли мать деда? Фатима — и та струхнула, брякнувши про лицензию. Но Фатима другое дело. Фатима своенравная, да еще человек образованный, цену себе знает, а с людьми она умсет так обходиться, что они

как-то все ей прощают и даже всегда нуждаются в ней, в ее слове, участии, просто в ее присутствии.

Вот и дедушка Аба сначала рассердился на нее, а теперь сидит под лиственницей, рассказывает ей свои «правдивые сказки». А она устроилась на бревнышке, подхватив под коленками ноги в узких полосатеньких брючках, и смотрит на деда не мигая. Ему, конечно, лестно такое внимание.

Эрден не выдержал, подошел, опустился рядом с Фатимой, она даже не шевельнулась. Еще бы, дед рассказывал про Куулгы — во всем Онгудайском районе нет больше села с такой биографией.

Хотя горы вокруг считаются священными и плотно населены всякими духами и хозяевами, но именно тут, в глухом урочище Куулгы, в тридцатых годах родилось товарищество «Кызыл-Мааны». И потому-то в дни празднования Октября, каждый год в больших и малых докладах называют Куулгы. Пойдет ли речь об автономии Горного Алтая, примером становится именно Куулгы, а не какое-нибудь там другое село.

Так оно и должно быть. Как ни говори, одна из первых коммун в Горном Алтае возникла тут, где родился и до сих пор живет дед Аба, безотказный врачеватель селян, где и теперь еще жив первый председатель коммуны Кейлюк Майчиков.

— Во-он у подножия горы его аил, видишь, дымится? Это он курит и вспоминает, что было, — говорит Аба Фатиме; он сидит прямо, дымит трубкой, прищулив глаза в прошлое. — Октябрь-то, — звучит старческий, но еще сильный и трезвый голос, — он трудно пробивался в горы — как цветок в каменную щель. Путь его пролегал среди горячих пуль, на кончике штыков и мечей, которые всегда были наготове в ножнах. Брат Кейлюка был храбрым и добрым человеком. Когда начинались колхозы, он стал вожаком коммунистов, раскулачивал баев, конфисковывал у них имущество. На дворе тогда стоял месяц малой жары, как сейчас.

Может быть, и не так складно говорил дед Аба — порусски он до сих пор говорил неважно. Но Эрден наизусть помнил этот сказ про Майчикова Кырлу, брата деда Кей-

люка, отца нынешнего председателя колхоза. Это был хороший сказ, правдивый, и дед часто повторял его мальчишкам да и взрослым, собиравшимся к его очагу в зимние вечера, и Эрден следил, чтобы все слова в нем находились на месте.

Итак, стоял месяц малой жары. Трава выросла выше пояса, дурманила запахами съедобных и несъедобных стеблей и цветов. Голова всех гор — великий Уч-Сюмер сверкал всеми тремя недоступными вершинами. Покрытый льдом и снегом, он был вечно холоден, горд и неприступен. Сердце его и весь лик его не подвластны ни злу, ни добру.

Месяц малой жары — время свадеб и гостей. В тот вечер в Куулгы играли свадьбу — самый радостный праздник для жителей гор. Со всех долин и урочищ собирались люди на той<sup>1</sup>. Тут и байга, тут и кюреш<sup>2</sup> и, конечно же, песня. Люди становились в круг возле аила молодоженов и, обнявшись, раскачивались и пели:

Твой аил, чья дверь, как луна,  
Шелком-золотом да украсится,  
Молодая твоя жена  
Золотым умом да прославится!..

Петь о печальном не полагалось — радостная, счастливая песня летела в летней ночи, и звон ее отдавался у самых далеких звезд.

Кырлу тогда заведовал колхозной конефермой, и под седлом его плясал вороной жеребец Аргымая. Кырлу конфисковал у Аргымая, у самого большого богача во всей Урскульской долине, не только этого жеребца, но и все его табуны.

Раскачиваясь в свадебном кругу, благословляя молодоженов, Кырлу запевал:

Дымкой окутанный, дивный Алтай,  
Лис твоих шубы на шубу нам дай!  
В аиле, где светит луна в дымоход,  
Невестке родня две косы заплетет...

---

<sup>1</sup> Той — свадьба, пиршество.

<sup>2</sup> Байга — скачки; кюреш — борьба.

Песня медленно плыла над белыми лунными полями, задевая крылами спящие цветы и травы, и вдруг взмывала над хребтами и перевалами. Откуда знать ему, Кырлу Майчикову, что в тот вечер он последний раз гуляет на милой алтайской свадьбе, последний раз пьет алтайскую араку из коровьего молока и последний раз поет алтайскую песню.

Алтайские песни что пара лебедей. Но не успел Кырлу и начать второй части, как иноходец, привязанный недалеко от аила к углу коровьего хлева, отчаянно и пронзительно заржал, зафыркал, забился. Послышался свист бича: шить-шить, цит-цит...

Кырлу побежал в темноту. Если бы он не бросился туда, в то время тридцатилетний коммунист, один из вожakov колхоза «Кызыл-Мааны», то допел бы вторую половину песни:

Светлыми реками славный Алтай,  
Мягкую выдру на шапку нам дай!  
В аиле, где жарок очаг допоздна,  
Нам сварит еду молодая жена.

...Когда прибежал Кырлу к вороному своему жеребцу, из-за угла метнулась черная тень, и в ту же минуту нож вошел ему прямо в сердце.

Загremели по земле копыта вороного жеребца, а в крови Кырлу долго еще звенела и медленно-медленно угасала родная песня...

#### 4

— Хотят, видно, собраться из всех логов и стоянок под видом комсомольского собрания и опять до утра танцевать. Зна-аем мы их...

— Опять будут крутить эту музыку, душу из людей вынимать.

— А что нам, старикам, там делать? Как будто других дел нету. Лучше пораньше лечь да выспаться, да с утра на работу...

— А дедушка Кейлюк думает, что с молодежью он

снова станет молодым, что ли? Смотрите-ка, давно не учил, не ругал людей, опять, старый черт, лезет. Словно без него земля перестанет вертеться. Посмотрите-ка...

— А там не написано, что будет кийно?

— Нет, ничего не сказано.

— Оказывается, бывает собрание без кийно!

Утром у дверей клуба и колхозной конторы толпился народ у объявлений, написанных Кымыс. И размеры объявлений, и сами буквы на них да и слова — все было необычно, празднично и зазывно:

**ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!**

**СОСТОИТСЯ ОТКРЫТОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  
НА ТЕМУ:**

**«СЕЛО И СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ»**

**Повестка дня:**

1. Участие молодежи аймака в заготовке кормов. (Докладчик секретарь РК ВЛКСМ тов. Аргучинов.)

2. Коммунисты и комсомольцы Куулгы в двадцатые годы. (Докладчик бывший председатель куулгинской коммуны «Ленинская искра» тов. Кейлюк Майчиков.)

**ВСЕХ, ВСЕХ приглашаем,  
стариков и молодежь!**

**Бюро комсомольской организации колхоза**

А когда солнце стало возвращаться в свое ночевье, с гор, окружающих Куулгы, с песнями и смехом начала спускаться к селу молодежь. Издалека был слышен топот коней, тихое село сразу ожило.

В высоких узких окнах клуба, отстроенного только в прошлом году, замелькали фигуры принаряженных девушек и парней. И до самой утренней зари лежал желтый свет длинными столбами на лужайке.

Первое слово, конечно, взял секретарь райкома комсомола Аргучинов. Пронзительным и вместе с тем монотонным голосом, не отрывая глаз от бумаги, он начал говорить об общих планах колхозов и совхозов, о звеньях и механизированных бригадах.

— Начинается... — донеслось откуда-то.

— Теперь снова будет цифры перечислять...

— И без того ясно...

Тонкими пальцами взяв стакан, Аргучинов осторожно глотнул воды, направил назад длинные гладкие волосы и, кашлянув, деловито продолжал:

— За годы Советской власти...

Кто-то резко крикнул:

— Мы это знаем, товарищ Аргучинов!

Кымыс звякнула колокольчиком, принесенным из школы:

— Что это, товарищи? Тише!

— А что? — вскочил из третьего ряда Монкуш; конечно, его-то голос Кымыс и слышала. — Мы и так знаем, что скажет товарищ Аргучинов: что в Куулгы есть новый клуб, магазины, школа, ясли, библиотека — слышали уже!

— Правильно, верно, слышали, хватит! — послушались голоса парней.

Кымыс растерянно поглядела на Аргучинова, отчаянно затрясла колокольчиком. Ну что за парень, опять как с цепи сорвался! Это он ей что-то доказывает, стоит ему увидеть ее, как что-то в нем словно взрывается, — все это в одну секунду пронеслось в голове Кымыс.

— Знаем мы это, хватит, прав Монкуш!

— Что вы, ребята, дайте слово человеку сказать! — гаркнул Рамазан, что пасет овец с матерью, старой чабанкой Яманай, в урочище Ак-Кем.

— За материной спиной добился славы и загордился, — засмеялся кто-то. — Тут тебе не съезд колхозников, не Москва. Лучше забыл бы, как ездить туда бесплатно!

— Что там болтает завистливый твой язык, Атраш?

А вот этого не пробовал?— и Рамазан двинулся меж рядов, потрясая кулачищем.

— Совесть есть у вас, ребята?!— вскочила Кымыс.

— Давай перекур, Кымыс!

«Окончательно выпряглись»,— думала она, собирая в комок волю, неистово звеня колокольчиком. Бросив его, перегнувшись через кумачовый стол, протянула к залу руки:

— Ребята! Давайте сперва послушаем доклад!— И может быть, голос и отчаянием сломленная фигура подействовали — все глаза обратились к ней. Она выпрямилась, краснея, взволнованная, хорошенькая, сверкая глазами, сказала твердо:— Продолжайте, товарищ Аргучинов!

Зал медленно затихал. Сморщив худое лицо, поправляя очки, Аргучинов хмуро окинул взглядом ряды. Молодежь, молодежь — сплошь молодые лица, и только в конце — прямой и темный, как старое сухое дерево, дед Кондюбей, рядом ссутулился дед Аба, известный всему аймаку, при нем старуха, освободившая уши от косичек. Еще вон солидная пара колхозников Батыровых, дети которых — знаменитые люди на Алтае. А где же Кейлюк? Так и не увидев его, Аргучинов начал скороговоркой о прошлогодних успехах молодежи Куулгы, назвал Монкуша и Рамазана. Потом, пропустив несколько страниц, заглянул в конец доклада, помолчал и вдруг крикнул:

— Коммунизм — это молодость мира, его возводить молодым!— повернулся и сел за стол.

Объявили перерыв...

Возвращалась молодежь в клуб неохотно, неохотно рассаживалась. В открытые двери за людьми рвалось вечернее дыхание полей, ночные запахи трав.

По второму вопросу «Коммунисты и комсомольцы Куулгы в двадцатые годы» слово предоставлялось бывшему председателю коммуны «Ленинская искра» Кейлюку Майчикову. Кымыс, улыбаясь старику, захлопала маленькими ладонями, словно голубь крыльями,— и несколько десятков голубей вспорхнули в зале.

Хотя Кейлюку около семидесяти, двигался он энергично. Легкими, быстрыми шагами этот невысокий, крепко

сколоченный человек вышел на самый край сцены. Первнюмал он темные, костлявые руки и молчал, глядя под ноги, о чем-то думая. Люди молча ждали.

И вдруг, словно пришпоренный конь, старик вскинул голову:

— Что я могу сказать вам, теперешней молодежи?— И сам же ответил:— А вот и есть о чем поговорить с вами, а вот и есть, говорю! Вы слышали, как внук дедушки Аба крикнул? Знаем, мол, что в Куулгы есть клуб, магазины и прочее. Так ведь кричал, парень? А?.. Так! А знаешь, кто это все построил тебе? Со стороны, грешным делом, мне померещилось, что вам прискучили слова «партия», «родина». Можно так? Нет!— глухо крикнув, резанул он воздух короткой и ловкой рукой.— Вот вы мне скажите, сию же минуту поднимитесь и скажите, кто из вас в зимние холода рос в аиле на дне глубокой ямы?! Монкуш, Ямандик, Рамазан, Атраш, кто из вас хотя бы видел ребенка, закутанного в овечью шкуру и в лютый мороз оставленного в яме, а? Не видели и, дай бог, не увидите! А вот нас растили именно так, на дне ямы...

— Теперь время другое, дедушка!

— Правильно-чин говоришь, Ямандик, правильно-чин. Но скажи мне, откуда пришло к вам оно, это время, кто принес его, а?.. Кто проливал за него свою кровь?

Как безумные кони, гонимые волками, встали, видно, на дыбы перед Кейлюком двадцатые годы Алтая. А может, они острыми иглами кололи сознание старика. Он закрутил головой, оглядывая зал, и вдруг раскинул в стороны короткие руки:

— Где мы могли провести такое собрание?.. Вот я живой еще стою перед вами, скажите, где мог я собрать своих коммунистов и комсомольцев? У нас не было даже просторного аила. Мы ждали погожего дня, чтобы собрать партийную ячейку на темени какого-нибудь холма. Правду я говорю, Кондюбей?

— Точно, Кейлюк, так оно и было,— угрюмо ответил старик с козлиной бородкой, похожий на черную корягу, сидевший с Аба.

В зале зашевелились, зашептались, кто-то хихикнул.

— А вам чуть ли не в рот кладут разжеванную еду!—

взорвался Кейлюк.— Можно хихикать! Хихикайте, я послушаю.

— У меня вопрос,— слышался негромкий девичий голос.

— Нет уж, вызвали меня, так слушайте! Слово пока дано мне. Мотрите, мотрите, можете сердиться как хотите.

— Да мы не собираемся сердиться.

— Ну что, Якарай, что там случилось, о чем надумала спросить?

Якарай, молоденькая учетчица, несмело поднялась:

— Вы, кажется, хотели рассказать, как создавалась коммуна, кто были первые коммунисты...

— Правильно-чин ставишь вопрос, Якарай, молодец!— Кейлюк закипел, заторопился.— Ячейку, конечно, организовали мы при помощи айкома и обкома. А первые коммунисты? Отвечу. Прежде всего — Мандаев Адар. За ним Кайбашев Тран, младший брат Адара — Аду, а потом мой брат... Майчиков Кырлу...— Кейлюк споткнулся.— Вот это были люди-золото, молодые мои товарищи.— Голос его стал глуше, глуше, а потом и совсем замолк.

Все поняли почему. Все живо представили Майчикова Кырлу, брата Кейлюка,— сколько рассказывал о нем дед Аба! Майчиков Кырлу был в их представлении и обыкновенным человеком, и уже богатырем, дух которого, по словам Аба, бродил по горам и следил, чтобы все в Куулгы совершалось по его заветам...

— Вот такие были люди,— повторил, помолчав, Кейлюк и вытер тыльной стороной ладони неожиданно выплывшие тяжелые свинцовые слезы. Он смотрел в лица своих земляков и видел, что были они сейчас с ним заодно. Глубоко вздохнув, он опять начал:— Вот еще о чем хочу сказать... Знаете ли вы, кто строил школу? Не эту, новую, а еще ту — вы в ней тоже учились. Какие люди рубили фундамент, возили бревна?.. Точно не помню, как бы не соврать, но, кажется, фундамент заложили в двадцать восьмом году. Так, Кондубей? Верно, Аба?

— Да... Так и было, Кейлюк,— промолвил Аба.— Говори, все правильно.

— Мотрите, товарищи-некерлер, слушайте внимательно... Фундамент тот был не простой, а основа основ...

Видно, он хотел сказать, что тот фундамент стал основой всей жизни здесь, так как с него началась грамотность, началось прозрение. Он припомнил ликбез и как писали они на дощечках, писали углем из костра да еще свинцом, из которого лили пули, чтобы уничтожать врагов Советской власти.

Тут кто-то выразил удивление, и Кейлюк призвал в свидетели старую Тадыл, и она, шамкая, подтвердила, что все было в точности — писали углем и свинцом. И Кейлюк вертелся волчком, тарасил глаза и кричал уже почти весело:

— Вы слышали, а? Тадыл человек правдивый, всем известно, вот...— И когда заговорили о новой школе и Рамазан крикнул, что десятилетка — это веление времени, Кейлюк прямо обрадовался:— Так что не зря мы учились свинцом стрелять и писать!

Все дружно захлопали.

— Под конец я хотел бы еще сказать об одном, товарищи-некерлер. Как я наблюдаю, из нашего Куулгы многие не работают в колхозе и не учатся.

— Шатаются между райцентром и деревней,— трубным голосом вставил с высоты своей Кондюбей.

— А кто-нибудь должен им подсказать, что дело так дальше не пойдет,— продолжал Кейлюк.— А, товарищи-некерлер? Вот ты, Ямандик, тракторист, работаешь хорошо. А сестренка твоя, где она, а?

— Какое мне дело,— буркнул Ямандик.— У ней паспорт есть, дело ее, хочет — работает в колхозе, хочет — в город уедет.

— Мотри, Ямандик, неверно говоришь... А скажи мне, кто учил твою сестренку до десятого класса? В чьем интернате она жила?

— Только одна моя сестренка, что ли, уехала в город? Что она, хуже других?.. Дети Батырова — семь человек, и все уехали. А тоже росли в колхозе и в интернатах жили...

— Мотри, мотри, парень молодой! — Кейлюк рубил воздух ловкой короткой рукою.— Твоя сестра то в го-

роде, то в районе, то в Куулгы, словно ее налоговым агентом назначили, что это, а? А ты ее старший брат, пойми — старший!.. Детей Батырова с ней не сравнивать. Все выучились, специалисты. Скажи, кого только нет среди них: врачи, и артисты, и так далее.

— А может, нашему колхозу не нужны врачи или артисты,— упирался Ямандик.

Но тут попросила слова Нина Кертешева, старшая дочь Камылды и Тарынчак.

— Бажалыста, очень хорошо,— промолвил Кейлюк, словно обрадовавшись случаю отдохнуть, и торопливо сошел со сцены, сел в первом ряду. А Кымыс невольно следила за Ниной.

Сверкая дешевыми, но броскими ожерельями, в красной кофточке без рукавов, Нина Кертешева быстро поднялась на трибуну. Она была подстрижена под мальчика — волосы впереди вились короткими прядками. Руки и плечи у Нины полные, круглые. И вся она крупная. Может, и правда, Монкуш, как еще недавно болтали, был бы под пару ей. В школе Кертешева сама писала ему записки. Сейчас она постояла, собираясь с мыслями, сосредоточиваясь.

— Была бы возможность,— приступила она,— я бы завтра покинула это село.— И, видно, по привычке улыбнулась, заморгав накрашенными ресницами.— Я работала на фабрике, но мне и там не понравилось — не моя это специальность, но город есть город, жить там интереснее...

— А какая же твоя специальность? — не удержалась, поддела ее Кымыс и невольно поинкала взглядом Монкуша в третьем ряду.

— Зачем ты так, Кымыс, ты же знаешь, специальности у меня нет,— вроде спокойно, но настороженно и медленно повернулась к ней Нина, а Кымыс опустила лицо и пожала плечами.

Но Монкуш уже поднялся, закричал с вызовом:

— А зачем же ты тогда приехала, кто тебя звал сюда?

— Никто не звал, Монкуш, успокойся,— гордо сказала Нина.— Ты же знаешь, моя мать ждала ребенка, ты ведь был у них, когда родился Анчи...

Кымыс сидела, не поднимая лица, ей казалось, что

сделала она сейчас что-то стыдное; может быть, так оно и было. И почему так сделала, не могла понять.

А Нина между тем говорила, справившись с собой:

— Ну вот, наступает вечер, и куда можно пойти, чем заняться? В кино? Кино раз в неделю, от силы два, фильмы старые, крученные-перекрученные. Ну ладно, пусть я пасу овец. Или работаю дояркой. Кто меня отпустит через день хотя бы в кино или просто в село? Или буду сздить туда и обратно, а когда же работать? А спать? И вообще, зачем заканчивать среднюю школу, если готовить себя в доярки?

— Рыба ищет, где глубже,— не узнавая своего ехидного голоса, опять вставила Кымыс.— В этом смысле ты права. Но тебе задали вопрос, что же ты не ответила, зачем же ты приехала?

— А ты, Кымыс, и сама не устроилась в городе, потому и сидишь здесь, не так ли? — обернувшись, сердито выпалила Нина.— Патриоткой заделалась, а ведь это потому, что таких акушеров в городе полным-полно!

— А ты не забыла, что Кымыс — кин-эне твоего брата Анчи? — крикнул в ярости Монкуш.

— Все возможно,— сказала Кымыс и медленно поднялась в полной тишине.— Но в деревне акушеров действительно не хватает. Человек должен искать не только где лучше, но и... да, искать, где ты нужен!

Нина махнула рукой, Монкуш опять выступил:

— А как там на фабрике, не выращивают ягнят?

— Это она без мяса соскучилась! — вставил кто-то.

— Вы правильно догадались, на фабриках ягнят не выращивают,— уже иронически улыбалась Нина.— А тебе, Монкуш, я отвечу. Да и тебе, Кымыс. Вам двоим я отвечу,— сказала она с особым значением, и, кажется, слезы давили ей горло.— Честное слово, я не вернулась бы в эту дыру, если бы в городе дали хоть какую-нибудь комнатенку! — Она уже хотела сойти с трибуны, но, вспомнив что-то, оглянулась на президиум: — И никакие самые распрекрасные статьи в газетах не могут переделать людей. Зачем человек из города вернется сюда? Что он здесь потерял?

И пошла. А зал поднялся на дыбы. Будто с гор налетел ураган — все кричали, гомонили, волновались:

— Она права!

— Она знает жизнь!

— Она видела, что к чему!

— Кертешева! Кертешева! — окликнул Аргучинов, его острый выбритый подбородок вздрагивал, сухое лицо холодно замкнулось. — Вы член комсомола, Кертешева? — При этом он сердито взглянул на Кымыс.

— Что такое? — задержалась Ниша.

— Вы, Кертешева, дезорганизатор!

— Неужели, товарищ Аргучинов? — Кертешева моргала длинными ресницами.

— Садитесь, — насупился Аргучинов и встал на трибуну: — Современность, товарищи, надо понимать глубже, гораздо глубже и смотреть на явления более перспективно! Сегодня в наших селах нет газа, нет телевизоров — никто этого не скрывает, еще недостаточно хорошо мы живем. Но ведь только что в своем интересном выступлении товарищ Майчиков говорил, что в его время не было ни тракторов, ни машин, ни школ, ни клуба, а теперь...

— Начинается, — вздохнул кто-то.

— Надо быть оптимистами, товарищи. Глядишь, в скором времени будут в нашем Куулгы и газ и телевизор!..

И тогда поднялся среди людей дед Аба. Аргучинов умолк и смотрел на его маленькую седую голову на сутулых плечах.

— Видать, — сказал своим медленным и глухим голосом Аба, — зарости-ка все травой, где ходили-гуляли, молоком материнским кормились? Не оглянется молодежь ни на мать, ни на отца, которые дали имя, людьми сделали, — а видишь, дали бы в городе угол! Ну, что же, может, Советам скот не нужен? — Он подождал, безнадежно махнул рукой. — Скоро, скоро уже, вот увидите, горькой полынью и крапивой порастут места, где стоят аилы ваши, и луга, где ходит скотина. А почему они едут отсюда? — поворачивал он седую, серую голову, взглядом ощупывая людей, и остановился на Батыровых, Сюдене и Мақыше. — Я думаю, основная причина — учеными быть

хотят. Все хотят быть учеными, учение нас! Так говорю, Мамыш?

— Говорят, ваши дети такие образованные, что родной язык позабыли.

Тари в такт его голосу и словам кивала, поглаживая тощие седые косички.

Будто уголь упал за голенище — так резво вскочила жена Мамышы Сюден:

— Куда-ай, бог ты мой, что он говорит, люди? Вы слышали? Верно, верно говорят, дедушка Аба к тому возрасту приближается, когда из ума выживают. Как понять это, люди? Как понять?— Она бойко вертелась на месте, то раскидывая, то прижимая к груди руки, маленькая, толстенная.— Кто выучился — тоже негоже? В каком советском законе это сказано, а? Кто написал, кто сказал, что людей не надо учить? Посмотрите, подумайте, люди. Взрослый человек, дед офицера! Кейлюк, дедушка Кейлюк, объясните ему, — шумно дышала Сюден, вытирая пот шапкой.

Кейлюк тотчас же поднялся:

— Мне думается, дед Аба частично-то прав, только...

— Куда-ай, бог ты мой, люди! Что сегодня, все с ума посходили?— заверещала Сюден, но Кейлюк рубанул воздух короткой рукой:

— Перестань, перестань, Сюден. Сперва послушай меня, а потом будешь плясать... Хорошо, спасибо тебе, Сюден, что выучила детей. Не пойму только, что ты за человек. Перестань, говорю... О-о, тарактит! Садись и слушай, мотри у меня... А если язык зудится, поцелуй бороду Мамышы.

Зал так и грохнул от смеха. Кымыс, забыв о своем колокольчике, уронила голову на стол и вся затряслась, Аргучинов и тот улыбался.

— Ну, утихли?— сказал Кейлюк и обратился к молоденькой учительнице.— Скажи мне, Айна Байрамовна, прав я или нет: как ты думаешь, все ли в порядке в деле воспитания наших детей?

Когда Кейлюк назвал ее по имени-отчеству, Айна покраснела и сидела перед стариком, как ученик, не приготовивший урока.

— Вот я, например, думаю, что в этом деле много упущений,— как можно громче напряг голос Кейлюк.— Учеников не учат в школе, чтобы они любили свою землю — не вообще советскую землю, а тайгу нашу, огромную и зеленую, как море. Нет, не готовят к тому... Признайтесь-ка, кто из вас учит ребятишек, как учили нас раньше, любить и ласкать новорожденных жеребят, ягнят, телят, а?... Как нужно за ними ухаживать и кто должен это делать? Есть такие у вас уроки? Есть такая учительница или учитель? Покажите мне их, и я, старик, не постыжусь, поклонюсь им: «Балам, спасибо!» Молчите? Вы и должны молчать. Вместо того чтобы научить детей любить колхозную землю, скотину, дорожить ею, они ею пугают: «Будешь получать двойки, всю жизнь будешь колхозных коров доить». Так-то вот... Разве я говорю неправду?

— В самую точку попали,— просипела старая Тадыл.

— Но я не учила детей, чтобы они не ходили за скотиной,— оправдывалась Сюден.

— Прению надо кончать!— сказал, вздохнув, Яшний Яйканаров.— Что же мы тут, до утра сидеть будем? Потом до обеда спать, а когда работать?

— Минуточку, бригадир,— словно только что очнулся, встал Мамыш Батыров, провел расческой по длинным, круто завитым усам — его и звали Буденным. Мамыш на фронте был каким-никаким командиром, вернулся при орденах, до сих пор носил галифе и китель. И голос у него был густой, четкий, вполне командирский.— Мы гордиться должны, что многие в Куулгы получили образование. Многие служат, остались в армии, как Эрден. Разве это не честь для алтайца? Кто осмелится сказать Эрдену: «Брось, не служи в Советской Армии, приезжай домой, механизаторов у нас не хватает»? Знаю, не скажете. И мы гордимся перед областью, товарищ Аргучинов, что воспитали таких детей. И сын чабанки Таны, известный уже поэт — нужны поэты Алтаю! Бег времени, молодые люди!

— И намотайте себе на ус,— кричал и крутился дед Кейлюк,— все начинается с коровьего навоза и хлеба, что колышется на полях Куулгы, смотрите мне!

Уч-Сюмер серой громадой вылез в рассветном небе, минута — и сверкнули золотисто-белые вершины: коротка летняя ночь!

Взяв в колхозе коней, они решили съездить на стоянку тетушки Яманай в Ак-Кеме — когда-то там была стоянка матери Эрдена.

Едва они выехали, миновали первый подъем, и кедровые начали осенять голубыми крылами тропу то справа, то слева, Эрден стал поглядывать на Фатиму, державшуюся напряженно прямо:

— Ты не устала?

— Нет, что ты, — говорила она, — мне ужасно все нравится. Я никогда такого не видела. Я же говорю, давно живем с отцом на Дальнем Востоке, и там тайга, но такой красоты нету...

— Горы... — улыбался Эрден. — Они подчиняют, захватывают — подоблачные, белоснежные... Видишь вершины, что подпирают небо? Они-то и есть священные, там-то и проживают горные духи... «Уч-Сюмер» — по-русски «Трехглавый». Вечные снега...

— Ты знаешь, мне иногда становится жутко. Наслушаюсь сказок, а ночью мерещатся тени древних алтайцев, хозяев гор, топот их богатырских коней, звенят серебром удила...

— Ты скоро стихами заговоришь. Это все горы. У нас много поэтов. Ты, по-моему, устала?

— Ну, хорошо, я устала, — сказала Фатима, морща в улыбке губы.

Эрден спешил, отвел коня в сторону, привязал к лиственнице и протянул руки Фатиме. Обхватив за шею, Фатима скользнула наземь и замерла, прижавшись нежной смуглой щекой, пахнувшей хвоей и свежим ветром, к подбородку мужа. Здесь она вся была другая, новая, и Эрден так любил ее.

Они долго сидели в дурманной траве, а кони рядом хватали головки цветов, позвякивая уздечками, и поскрипывал мощный кедр.

— Послушай, может, эти горы и правда волшебные? Я люблю тебя так, как никогда, кажется, не любила,— говорила Фатима.

— Конечно!— смеялся Эрден.— Конечно-оо!— И эхо несло по горам.— Уч-Сюмер — главный волшебник. Метеостанция здешних мест. Будут ненастные дни или установится ведро, эти вершины точно предскажут. Как почуют они непогоду, тотчас затуманятся, начнут клубиться темными тучами и кипеть — тучи так и ворочаются. А если предстоит прекрасная погода, они блещут, сияют под солнцем, сыпят во все стороны огненные блики — вот так-то! В древние времена у подножия их жил человек по имени Казыраш. Было у него три сына: Бамандык, Тадалык и Тартыгаш.

— Это что, новая сказка?

— Слушай. Однажды поехали сыновья Казыраша на охоту и встретили странного марала: на загривке разноцветные лоскуты и ленты, точно кто-то нарочно его украсил. Гонялись они, гонялись за ним целый день. А кони, сильные, ловкие, могли бежать по бревнам и валежникам, как шустрые белки. Нипочем им опасные броды и завалы. Но марала сыновья Казыраша в тот день так и не убили. Кони устали, и кончились пули. Что делать? Вернувшись домой, рассказали братья отцу о встрече с необыкновенным сыгыном-маралом. А отец их Казыраш был великим шаманом. Три дня подряд шаманил он, выпрашивал марала у самого хозяина гор. На четвертое утро сыновья его вновь отправились на охоту и вернулись с добычей.

— А куда они девали ленты? Женам? На загривке у него действительно были привязаны ленты?

— Кто его знает, я же марала не видел. Но дедушка Аба слышал об этом своими собственными ушами... Ну вот, с той поры весь белый скот передох у Казыраша, стали болеть и умирать по очереди дети.

— О господи, какой ужас!

— Ужасно было и Казырашу. Перепугался кам, разуверился в собственном могуществе. Разбил свой шаманский бубен и сжег одеяния. Даже решил перейти в новую веру. И стал теперь по-другому действовать: привязывал



к веткам деревьев кыйра-ленту, карабкался на перевалы, оставлял там дань хозяину тайги, опрыскивал горы молоком белой кобылицы, подкладывал в огонь душистый арчйн<sup>1</sup>. Но ничего не помогало. Тогда он прослышал, что где-то далеко-далеко, в Чойской чаше, есть кам, который и в огне не горит и в воде не тонет. И послал он к нему младшего сына Тартыгаша... Семь суток камлал тот кам, не переставая, а потом говорит: «Вы убили священного марала, а потому будет хиреть ваш род и до конца гибнуть скот ваш белый».

— Число семь и на Алтае имело особое значение? Ну, и сбылись предсказания?

— Все сбылось. И сам Казыраш, и наследники — все до единого перемерли у подножия Уч-Сюмера. С тех пор ясновидцы, как наш дед Аба, объявили горы священными. На горы не полагается подниматься, вблизи них нельзя громко кричать, стрелять из ружья. В реках, несущихся с их вершин, нельзя ловить выдр черно-золотистых, нельзя стрелять золоторогих маралов. Священные, ясно? Ясно-о? Ясно-о?! — закричал, вскочив, как дикий, Эрден.

— Что ты вопишь? — И Фатима встала, оглядываясь.

И в тот же самый миг раздался топот копыт, Фатима вцепилась в Эрдена. На седловину выскочил снизу белый статный конек, а на нем девочка в голубых джинсах и сапогах.

— О, это действительно горный дух! — рассмеялся Эрден и крикнул всаднице, под которой крутился конек: — Кымыс! Здравствуй, Кымыс! Ты куда? Поехали с нами к Яманай!

Кымыс справилась наконец с лошадей, угрюмо посмотрела на них и крикнула с отчаянием в голосе:

— Нет! Я к Кертешевой Тарынчак, сына ее посмотреть! — и, рванув с места, кинулась вбок по крутой тропе.

— Ну и девочка, бесенок какой-то, верно? — засмеялся Эрден, но что-то тенью прошло по его лицу, какая-то неловкость, и Фатима усмехнулась, сказала жестко:

— Смотри-ка, она влюблена в тебя!

— В нее влюблен Монкуш, — отвернулся Эрден. —

---

<sup>1</sup> Арчйн — можжевельник.

А тебе, по нашим обычаям, нужно помочь ему жениться на ней.

— Тебе было бы приятно?

— Иначе Тари и дедушка Аба перестанут уважать тебя.

— Смотри, как ты беспокоишься об их уважении! А мне показалось, что это ты привез лицензию, — повела она бровью.

Эрден нахмурился, отвязал коня, подвел к жене и сам, вскочив на своего, выехал на тропу.

Долгое время ехали молча. С тех пор как Эрден с Фатимой прибыли в Куулгы, он как бы заново перелистывал и перечитывал пожелтевшие страницы книги своей здешней жизни — может быть, потому, что рядом была Фатима и он кое-что показывал ей, а кое-что и сам вспоминал невольно. А на этой дороге каждое дерево, каждый камень встряхивали в его памяти какой-нибудь случай, какую-нибудь историю — до сих пор где-то тут, среди гор и полей, бегало его детство.

Один поворот остался до знакомой поляны. Эрден крикнул: «Догоняй!» — взмахнул плетью, дернул поводья и выскочил на солнечный круг у большого аила, который так и обдал сердце горькой радостью.

Кое-как привязав коня, он заскочил в аил.

— Здравствуйте, тетушка Яманай! Как стадо? Как здоровье? — Он бережно взял в широкие ладони сухощавую, со скоробленными пальцами старую руку чабанки, словно приютил в них маленькую взъерошенную пташку. И, не сводя глаз с Яманай, улыбался.

Она заторопилась: «Ой, что же я стою!» — качнулась к кадке с чегенем<sup>1</sup>, взболтала мешалкой, налила в пиалу, подала Эрдену и в свою очередь осведомилась:

— Ну, как ты служишь, когда приехал к своим?

Залилась лаем собака, и чабанка из аила крикнула на нее:

— Чик, перестань! Спятила, что ли? Человек давно сидит в аиле, а она взъелась на коня у коновязи...

---

<sup>1</sup> Чегень — кислое молоко, из которого готовят араку и копченый сыр курút.



— Нет, тетушка Яманай,— все улыбался Эрден,— там еще один человек едет.

— Разве?— удивилась Яманай и вышла вслед за Эрденем.— Чик-чик, Тайгыл!— Она подняла с земли корявый сук, и собака тут же припала к земле, прижав уши и виляя пушистым хвостом, подползла к хозяйке.



Фатима еще издали поклонилась и, соскочив с коня, боком прошла вперед, косясь на огромного волкодава.

— Познакомьтесь, тетушка Яманай, — представил Эрден жену.

— Он все-таки дикарь, — пожаловалась Фатима, —

ускакал от меня, бросил! — Она строго смотрела на него, а лицо ее смеялось.

И Эрден смеялся и, довольный, объяснил Фатиме, что перед нею стоит передовая чабанка и... самая первая трактористка колхоза!

— Опять новая сказка! — засмеялась Фатима, вглядываясь в загорелую до черноты, круглолицую, пожилую Яманай.

— Трактор — это уже в прошлом, Эрден, я давно была. — Яманай по привычке прикрывала ладошкой высохшие губы, будто чувствуя неловкость за то, что давно выпали ее красивые крепкие зубы. А вокруг глаз так и двигалась частая паутина морщин.

Нет, Эрден не собирался рассказывать очередную сказку. Эта высокая, худощавая, немолодая женщина, которая беспокойно ходила взад-вперед, возилась с посудой, хлопотала, чтобы угостить гостей, в самом деле была первой трактористкой колхоза «Кызыл-Мааны».

Трактора в Горный Алтай пришли только после войны. До того пахали лошадьми — лучше не вспоминать о тех временах, пусть остаются во тьме годов. Взрослых сильных коней отправляли на фронт, колхозу оставались двухгодовалые стригуны. Особенно трудно приходилось весной, когда кончались корма.

За плугами плелись женщины да четырнадцати-пятнадцатилетние мальчишки. От голода и усталости падали на ходу и были не в силах подняться. Падали не только люди, падали лошади.

Кончилась война, когда объявили, что людей посылают учиться на трактористов. В колхозе не нашли подходящих парней или мужчин и направили из «Кызыл-Мааны» на курсы Яманай. Сколько же было ей лет? Года двадцать четыре или двадцать пять... А Эрдену всего только шесть, может, семь. Был бы старше, стать бы ему одним из первых трактористов в горах.

Эрден все помнит отлично: стоял месяц малой жары, люди готовились к сенокосу. Однажды в деревне услышали шум и треск, раздававшийся по горам и падам. На

дорогу вылезло что-то черное, и ближе, все ближе подползало оно к Куулгы, испуская дым и пар — дух доносился смрадный.

Женщины побросали дела и глазели на чудище. Иные, не решаясь покинуть юрту, приоткрывали двери, следили, как «оно» лезет. От гула сотрясались айлы, того и гляди, попадает посуда.

Когда трактор приблизился, женщины, как по тревоге, заматались, хватая мальчишек, рвавшихся посмотреть. Но куда там, где пацанов удержаты! Они хоть и побаивались подходить к «железному коню», все же встретили его у околицы и бежали, держась поодаль.

Дед Аба не выходил из айла, даже не смел о том и подумать. Худые пальцы тряслись, губы шевелились в молитвах к небесам и хозяевам гор.

В это время ворвался Эрден.

— Дедушка Аба! — выдохнул он взволнованно и объявил: — Трактор приполз! — Дед молчал, Эрден повторил: — Приполз, говорю, трактор! Что вы сидите-то, ну, пойдите же поглядим.

— Эй! — вздрогнул дед брезгливо и испуганно, приподняв маленькое, всего-то с пригоршню, печальное лицо, взглянул на Эрдена странными глазами, долго гладил сухими заскорузлыми ладонями белые волосы, медленно повернулся к Эрдену, поинтересовался: — А как эта беда появилась — по земле приползла или летела под облаками?

— Своим ходом пришел! — выпалил Эрден радостно. — Пойдем поглядим, какие глаза у него — как луны!

— Как луны, говоришь? — очень удивился Аба. — А какой же он масти?

— Не-ет, Аба, он весь черный, железный.

— Значит, железно-черный?! — Аба крепко сжал ладонями старческие щеки, словно хватил его приступ зубной боли. — Точно! Таким он и должен быть! Я же предвидел еще месяц назад! — И Аба приосанился и долгим взглядом мудреца, прищурившись, смотрел на красные угли гаснущего очага.

Тогда еще была жива мать Эрдена, но ей не пришлось увидеть, как прибыл трактор, — она пасла на альпийских

лугах на вершине Ак-Кем бруцеллезных коров, их ежегодно отправляли туда на жировку.

Была бы жива Мекечи, радовалась бы теперь, гордилась бы: «Мой младший, Монкуш, тракторист». А возможно, и не так, возможно, утаила бы радость под сердцем, как маленького ребенка: теперь людей мало что удивляет.

Теперь не только люди, но и скот изменился. Идет машина, а она, корова-то, ляжет поперек дороги как ни в чем не бывало и жует себе жвачку. Знает, что не задавят, объедут. Тогда же...

— Ах, страх ведь это! — говорили люди, глаза на трактор. — Наверное, нет сердца у того батыра, который пригнал это чудо.

— Ба-ата-а! — изумлялись. — Пахнет-то как! — и прикрывали рты рукавами шуб.

— Нет, кто все же пригнал его?

— Были люди, у которых два сердца. Может, кто-то из них?

Когда трактор встал у колхозной конторы и из кабины вылезла Яманай, люди глазам не поверили: она была в синем комбинезоне и в платке, точно русская.

— Яманай?!

— О, бог ты мой, чего только не увидишь, покуда жив!

Яманай сходила в контору и вышла и, улыбаясь во все свое круглое лицо, смотрела на народ, когда прибежала мать и закричала еще издали:

— Это вправду ты, балам, ты, Яманай? — И она заплакала. — Как же мне теперь жить?

— Мама, подойди сюда, сядь-ка вот рядом, сюда вот...

— Нет, дочка, нет, и не зови, не пойду, — отмахивалась мать. — Нет, дочка, нет. Только ты его, своего трактора, к аилу не подгоняй, балам. Фу, фу!.. Одна приходи, балам, одна.

Яманай завела машину, люди кинулись кто куда — зашуршали обутки и шубы. Может, это неправда, но говорят, кто-то в страхе бросил шапку в трактор. Мать Яманай — а это уж точно! — хотела тоже бежать, но, запнувшись о полу, упала, запричитала:

— Не наехай на мать, пожалуйста, не наехай на ста-

рую свою мать, балам, не... Тяни поводья в сторону, балам, не задави свою старую мать, балам!..

Годы, годы... Далеко они, не вернутся. Но иногда, как живые, они приподнимаются и шевелятся в сердце.

Осенний день того года, когда она начала вспашку зяби, стал не простым днем, а праздником. Что говорить, на поле пришли все, и стар и млад. Всем было любопытно, как это трактор пашет,— это Эрден хорошо помнил.

Дойдя до места, трактор остановился. Парень, которого все называли прицепщиком, опустил лемеха плуга, и трактор двинулся, оставляя за собой борозды. Аккуратные пласты выкладывались равномерно, точно листы читаемой книги... Люди стояли и шли за трактором. Были плакаты и флаги.

Старики, нагнувшись к борозде, брали в руки землю, смотрели, подносили к носу, нюхали.

— Да, что и говорить, силен, силен!

День и ночь резали колхозники для тракторного газогенератора березовые полешки. И Эрдену приходилось колоть их на маленькие, конусообразные и квадратные чурочки.

Яманай была белолица, но ее все равно прозвали «Черною силой». Сперва она, конечно, сердилась, потом привыкла, пусть кличут, она же не черная, не железная.

А годы шли. Стала увеличиваться пахотная земля колхоза «Кызыл-Мааны».

— Если продержится мир на земле, то скоро достигнем довоенного уровня жизни,— говорили люди.— Заплата к заплате, и дыры не видать.

— Свое отработал «Черный богатырь», одно воспоминание осталось,— смеется Яманай.

В анле жарко от большого костра, на котором хозяйка готовит угощение. Да и на дворе ясный, солнечный день. У Яманай на кончике носа блестят бисеринки пота, это у нее всегда: чуть пригубит араки — потеет.

— Отработал, отработал свое «Черный богатырь»,— повторяет Яманай.— И дети выросли, и трудности забылись...

— Ехал — ничего не узнавал, — сказал Эрден. — Все кругом перепахано. Трактора добрались до Ак-Кема и Соодек.

— Точно, — подтвердила она, — всюду сеют овес на зеленку и ячмень.

— Когда была жива мама, — загрустил вдруг Эрден, — сколько пришлось мне побегать тут по полям за телятами! Первый раз я тут разбился, первые колючки впивались тут в мои пятки.

Яманай чуть пригубила чоочей с аракой и в знак уважения подала его жене Эрдена.

— Выпей-ка за меня, — сказала она и торопливо вернулась к прежнему разговору, испугавшись, что печальные воспоминания одолеют Эрдена. — Теперь в колхозе много разных машин!

Фатима чоочей тоже пригубила и подала обратно хозяйке:

— Поделимся! Недаром сказано, что пить из одного чоочей слаще, ехать на одном коне мягче.

— Да ты совсем наша! — похвалила Яманай. Конечно, не за возвращенный чоочей, а за почитание обычая.

— Давно за руль не садились? — глядя на круглое доброе лицо Яманай, поинтересовался Эрден. — Забыли, наверное, все.

— Да, давно было дело, — согласилась Яманай. — Потом чабанить стала, потом дояркой, теперь снова пасу овец с Рамазаном... Идут годы...

Она снова наполнила аракой фарфоровый сосуд и поднесла Эрдену:

— Ты, Эрден, из рода майман, так что приходишься мне племянником. Хорошо, что не забываешь. В тайгу мало кто заглядывает, иногда и взгрустнется... Дети выросли, разъехались кто куда.

— А я что-то забыл, сколько у вас детей?

— Четверо, — охотно пояснила она; было видно, детьми Яманай гордится, довольна, что поставила на ноги. — Старший семьей обзавелся, жена у него нездешняя, из Ябаганской долины, там и живут. Другой работает недалеко, учителем в Усть-Каракольской школе. Рамазан со

мной, а Мара в Хакасии, артистка она у меня, в Москве училась.

— Значит, из Хакасии ждете сватов? Я был в Абакане, там много хороших джигитов.

— Теперь все пути-дороги переплелись.— Яманай кинула взгляд на жену Эрден:— А у тебя родители живы-здоровы, дочка?

Фатима коротко ответила, что отец у нее жив. Яманай кивнула и тотчас предложила что-нибудь спеть и сама затянула протяжно и пронзительно:

Думала, придет дядя,  
Стала сушить сурочье мясо,  
Не дождавшись дяди,  
Долго плакала на каменистом бугре...

— Жену, Эрден, научи петь по-алтайски, тогда совсем ладно будет,— засмеялась, закивала она головой.— Ну, давай, давай, запевай теперь ты.

Эрден не отказывался. Голос у него был просторный, легкий, и были это песни земли, сохранившей следы его детства:

Мы не вершины двух гор,  
Живы будем — встретимся снова...

Яманай подхватила:

Глядя на следы проскакавшего коня,  
Узнаем, какой он был масти...

Голоса их слились. Песня дрожала, уносясь по хребтам, задевала зеленые крылья лесов, что качались у подножия Уч-Сюмера.

Горы, близкие и далекие, слушали песню. Фатима, сидя на белой кошке возле жаркого очага, покачивалась в такт. Потом она прилегла и слушала, потом ей стало казаться, что она и сама поет, хотя и не знает слов...

— Смотри-ка, Эрден,— шепнула Яманай, дотронувшись до его руки.

Темная стриженная голова Фатимы резко выделялась на белой кошке, строгие черты, как всегда во сне, распус-

тились, в лице обозначилась какая-то беззащитность, отчего сердце у Эрден защемило и он почему-то подумал: «Если бы жива была мама!..»

День угасал. Вершины Уч-Сюмера сияли еще ослепительней — солнце жгло их последним огнем. Становилось заметно прохладнее — так всегда становилось здесь в конце дня, еще когда Эрден жил с матерью вот в таком же аиле, притулившемся у красной скалы. Лиственницы, тогда молоденькие, теперь разрослись, раскорячились и кружили по скалам, изогнутые, нескладные, словно исполняли шаманский танец.

Эрден карабкался наверх и узнавал расселины, по которым лазил мальчишкой. Отсюда загоны и кошары, отстроенные заново, но уже посеревшие от непогод, казались старше, и легко было представить, что так когда-то все и было и вот-вот выбежит мать из аила, приставит ладони ко рту, закричит: «Где ты, Эрден? Солнце уже садится! Давай...» Она в кирзовых сапогах, в старой, наброшенной на плечи шубе, с косами из-под круглой бархатной шапки, опушенной белкой. «Если б не ходила за бруцеллезными коровами, может, и теперь была бы жива», — со стесненным сердцем подумал Эрден.

Ему живо представились те далекие зимние дни, тащившиеся со скрипом и шатанием, как тяжело груженные старые сани. Так и слышались ему вздохи коровьи, голодный рев и мычание.

А заболевет, бывало, мать — Эрдену чистить хлева. А мать, полулежа возле холодной железной печки, мучительно кашляет и тихо бесслезно плачет. С нетерпением ждал мальчик, когда пройдут морозы. Он уже знал, что, как бы ни было трудно, лето принесет облегчение, обласкает коротким счастьем. Они с матерью переедут на джайлау<sup>1</sup>, разобьют аил возле озера Ары-Кем. Много лет подряд стояли там коровы, земля унавозилась, а потому травы там густы и выше человеческой головы. И рас-

---

<sup>1</sup> Д ж а й л а у — высокогорное пастбище.

тет во множестве кандык — таежный цветок со сладкими корнями. Есть места, где он толпится гурьбой. Сейчас небось малиновые цветы его опали, тяжелые головки созрели, раздались, набухли зернами, нагнулись к земле, путаясь в листьях узких и дрожащих, подобно язычкам уставших собак. Таежная земля влажная, мягкая. Чуть копнешь — и покажутся корни, белые, словно пальцы горожанки.

Летом хорошо детям доярок и пастухов — как ни говори, молока пьешь вволю, из него же можно делать творог и курут.

А настанет осень — время обуви и теплых одежд, заносит, сожмется от боли маленькое сердце. Оттого, наверное, и спросил Эрден однажды зимой у матери:

— Мам, а почему бы нам завтра с утра не перекочевать на джайлау?

— А что мы там будем делать?

— А лето же там осталось? Тепло там, кандык растет, будем делать творог и сыр.

Мать прижала к себе сынишку, долго-долго гладила по черным жестким волосам и шептала:

— Глупенький ты мой, несмышлениш ты мой...

Одну из весен Эрдену никогда не забыть. Хоть и захочешь, так нет — крепко вцепился тот день в память.

Проснулся однажды Эрден и услышал, как где-то близко кукует и кукует кукушка. Выскочил он на волю.казалось, от кукования весь мир в то утро изменился: неистово зеленели леса и горы, теплынь наполняла простором долины, а под куполом исчерна-синего неба, пропахшего свежим ветром, звучало и звучало «кук-ку, кук-ку». Мальчишке бежать бы, лететь, но застыл недвижимый.

— Вот и кукушка вернулась — значит, настало лето, — обрадованно произнес материн голос. А он даже и не заметил, когда она подошла. — Это первая нынче кукушка, ты каким ее ухом услышал, правым или левым?

— Правым, — не задумываясь, ответил Эрден. — Лесистая гора на правой же стороне, мама...

— Якши, якши, балам, хорошо, — обрадовалась Меке-

чи.— Если верить старикам, ты будешь счастливым. Может, скоро, на твое счастье, отец с фронта вернется.

Как она была в то время молода и красива! Глаза удивленные, карие, сильно суженные к концам, как у оленя, а тонкое, смуглое лицо кончалось остреньким нежным подбородком.

— Вернется отец, вернется отец!— стал тут же скакать и бегать вокруг нее мальчишка.

И в самом деле, немного прошло с того дня, и все города и веси Алтая облетела радостная весть: «Война окончена! Победа за нами!»

Заклубится, бывало, дорожная пыль, покажется в ее дымке гонец, и снова услышишь: «Конец проклятому фашизму!»

В один из таких полных ожидания дней на стоянку Мекечи из деревни прибыли люди и за чаепитием сообщили, что вернулся с войны Кумдус, что он без ноги, но все же будет теперь среди детей и родных, родным воздухом дышать, белизной алтайских вершин любоваться.

Мекечи взяла Эрдена и спустилась с ним в деревню.

В аил Кумдуса набилось множество народа. Приходили поздороваться с фронтовиком, сидели, разговаривали, расспрашивали о том о сем. Однако у каждого была одна тайная мысль — услышать о своих близких.

— Как хорошо, что вернулся, молодец, сынок, хоть живым остался!— говорили Кумдусу, опасливо косясь на грубую деревяшку, подвязанную к его колену.

Кто-нибудь тут же справлялся:

— А тебе не случалось, Кумдус, повстречать там моего сынка?

Мекечи, держа Эрдена, с трудом пробились вперед, протянула руку Кумдусу. Неожиданно взгляд ее упал на безжизненную его деревяшку, и из глаз ее покатились скользкие и тяжелые, как крупинки ртути, слезы. Опомившись, она развязала ветхий, когда-то красный кушак, вытерла концом глаза и подтолкнула Эрдена поближе:

— Человек этот, балам, воевал вместе с твоим отцом. Не стесняйся, подойди, балам, спроси, когда приедет отец.

Эрден стушевался, попятился, стараясь спрятаться за мать.

— Так чьим же ты будешь сыном?— настойчиво и в то же время ласково допытывался Кумдус:— Хорошие дети не забывают своих отцов, ну-ка, скажи мне?

Эрден, опустив голову, шмыгал носом, и все же маленькие острые глаза его косили исподлобья на незнакомца.

— Чей же ты будешь? Скажи, сынок?

И мальчик упавшим, не своим голосом вдруг прошептал:

— Я сын Учура.

— Чей, чей, говоришь? Прослушал я,— подтрунивал Кумдус,— а ну-ка, повтори, богатырь?

— Учур!— наконец более чем внятно выпалил Эрден.

— Молодец-то какой, а? Как солдат отвечает!— похвалил Кумдус.— Быть тебе генералом! Ведь отец твой, Учур, самый меткий у нас стрелок, он и на войне крошил зверя направо-налево. А теперь скажи мне, сынок, из какого ты сеока?

Эрден совсем осмелел, отчеканил:

— Май-ман.

— Вот молодец, знает все как свои пять пальцев!— Кумдус и в самом деле удивленно и живо смотрел на всех и довольно смеялся.— А имя-то я и забыл спросить, давай познакомимся?

— Эрден.

— Ну и ладно, вполне знакомы.— Кумдус запустил волосатую руку в вещевой мешок и вынул маленькую штучку, завернутую в цветистую бумажку.— На-ка, держи, скоро твой папа приедет и привезет тогда больше, целый мешок.

Будто и правда муж должен завтра прибыть домой, Мекечи облегченно вздохнула, просияла лицом, выпрямилась, благодарно улыбнулась всем и вышла.

Не выпуская ручки Эрдена, она заторопилась к старикам Аба и Тари. Эрден вырвался, помчался вперед, еле касаясь голыми пятками земли, показывая знакомым мальчишкам красивую штучку в цветистой бумажке:

— И мой папа едет! Завтра же будет дома! Не веришь, пойдی узнай у дяди Кумдуса.

Едва переступив низенький порог, Эрден объявил:

— Завтра отец приедет!

Аба, прогревавший кости у очага, приподнялся:

— Кто принес тебе эту радость, балам?

— Дядя Кумдус, он и маме сказал только что! Ну, скажи же, мама!

— Правда? — засуетилась Тари.

— А мне об этом известно, — солидно кашлянул дед. — Ведь за несколько дней я могу кое-что наперед предвидеть!

— А дядя Кумдус меня еще угостил, вот, сладенькое, компет называется. — И Эрден совал всем по очереди попробовать и понюхать «компет» и не забывал прихвастнуть, что отец привезет целый мешок. — А какой командир дядя Кумдус, если бы вы видали! — Эрден, вспомнив о чем-то, оглянулся на мать вопросительно: — А наш папа тоже без ноги приедет, да?

Вопрос, как невидимый меч, повис в воздухе, никто ничего не ответил.

Мекечи верила, что Учур скоро вернется. Верила и ждала. Один за другим возвращались фронтовики. Много раз Мекечи седлала коня, сажала за спину Эрдена и спускалась с далеких стоянок в деревню. Но не нашлось человека, кто сказал бы ей, что воевал с Учуром, мол, на одном фронте или мимоходом столкнулся на поле боя. И все же верила, что Учур не сегодня, так завтра приедет.

Потянулись дни надежд и ожиданий.

— Я сегодня во сне его видела, — скажет, бывало, Мекечи заехавшим на ее стоянку гостям. — Будто переходит он через реку, во все стороны брызги летят, глаза так и сверкают, черные-пречерные — так торопится мне навстречу.

Не раз Эрден прерывал ее:

— Мам, ты сон этот сколько уже рассказываешь, а отца все нету и нету.

— Так он же далеко, как же может быстро добратся? — успокаивала Мекечи. — Ты смотри только, не прокарауль, он обязательно будет!

Мирно, шаг за шагом, как вьючные кони по узкой тропе, тянулись дни и месяцы. Многие женщины, получив

похоронный лист, извещавший, что муж или брат героически погибли за Родину, выплакали все слезы и навсегда расстались с надеждой.

Похоронку об Учуре Мекечи не получала. Но стала она хмурой и молчаливой. Нелюдимой даже. И жила уединенной жизнью. Пасла бруцеллезных коров, и заботы и тяготы ее ничем не отличались от забот и тягот других пастухов колхоза с ярким, как весенний мак, названием «Кызыл-Мааны» — «Красное знамя».

Только Эрдэн знал, как вечерами, а иногда даже днем, сидя возле коров и глядя на дорогу, ползущую черным арканом к их стоянке, мать безутешно подолгу плакала и тяжело вздыхала.

Прошел еще год. Чего только не делала Мекечи, чтобы разузнать о судьбе мужа. И к разным яринчи<sup>1</sup> ходила тайно, пытаясь прочесть участь Учур по обожженной на костре бараньей лопатке, и к старухе ворожейке в Онгудай ездила, свезла мяса, масла да шерсти, смотрела вместе с ней в зеркало. Все они говорили, как две капли воды, похожее: велели верить и ждать — Учур ее был далеко где-то, но жив и здоров.

И Мекечи ждала. Иногда, чтоб разогнать тоску, облегчала сердце песнями ожидания:

Есть звезда Тети-Каан,  
Семь кругов ей бежать до утра,  
Где моя отрада и звезда,  
Добежит ли она до меня?

...Из аила в аил ходила цыганка, гадала на картах. Люди хотели знать, куда повернет путь-дорогу матушка-судьба. Мекечи тоже не выдержала, приехала в деревню, но опоздала — цыганка уже исчезла. Говорили, что ушла недавно и, наверное, пылит где-нибудь по проселку. Пешком, конечно, уйти далеко не могла, и Мекечи решила ее догнать. Настегивая коня справа и слева, помчалась вслед, будто торопилась встретить мужа, будто сказали ей, что навстречу Учур шагает. Прошло примерно столько

---

<sup>1</sup> Я р и н ч и — знахарь, колдун.

времени, сколько понадобилось бы, чтобы выкурить трубку, и она догнала цыганку.

Так и ходили бока коня от быстрого бега. На ходу спрыгнув на землю, Мекечи робко, словно виноватая, подошла к цыганке.

Та догадалась, зачем Мекечи гнала так коня, и без слов присела на круглый камень у дороги. Прежде чем разложить разноцветные карты на подоле широченной черной юбки с красной оборкой, цыганка опытными и в то же время грустными глазами со значением вглядывалась в алтайку. А глаза молодой алтайки были потухшие, тень утраты и огромной усталости надвинулась на лицо. И старой цыганке стало вдруг жаль ее, измученную. Но святое это чувство как возникло внезапно, так и исчезло. Она протянула черную жилистую руку:

— Положено позолотить, дорогая.

У Мекечи не было ничего. Второпях она забыла, оставила дома то, что следовало положить в эту руку.

— А если я тебе скажу всю правду, как есть, не будешь сердиться? — загадочно прошептали губы гадалки. — Мне все известно, милая. Но тебе ведь нечем ручку позолотить.

— Скажите мне только правду, жив ли он?.. Я... Я хочу все знать, скажите. А подарок будет! Хочешь, теленка дам, торбока, хочешь, шкуру возьми, шерсти, только скажи, жив ли мой? — почти молилась перед старухой Мекечи, неизвестно почему перейдя на «ты».

Цыганка, шевеля, как в ознобе, высохшими губами, трясла седой головой. Жилистыми руками она начала тасовать и раскидывать карты. Обнажив вставные зубы, сладенько, как маленькой, улыбнулась:

— У тебя, видать, есть дома баранчук?

— Есть, есть.

— Вот видишь, правильно говорю? Ты пастушка или чабанка?

— Пастых я... Ну скажите, скажи ты мне скорей, не видать ли там моего Учуга? — Мекечи волновалась, кивала остреньким подбородком на карты.

— Ай-ай, красавица, не торопи, — покачала головой старая.

А конь Мекечи, понутив голову, стоял рядом и тоже ждал.

— Пойми ты меня, говори, где Учур мой?!— взорвалась вдруг Мекечи и привстала.

— Ай-ай, милая-я! Успокойся, сейчас...— Цыганка вздохнула протяжно:— Да-а... Закрыта дорожка для него,— заключила она и хотела было складывать карты.

Но тут Мекечи истошно крикнула, оленьи глаза ее распахнулись, остановились, и она потеряла дыхание.

Испуганно заметалась гадалка. Но Мекечи очнулась и, как волчица, у которой охотник отбирает волчат, яростно бросилась на старуху и прижала ее к земле.

— Врешь! — кричала и хрипела она.— Врешь!

У старухи со страху вышибло все слова из ума, и она в тон Мекечи вопила:

— Врешь, врешь!— И выходило так, будто они передразнивали друг друга.

Долго не могла совладать с собой Мекечи в тот день. Она то сердилась на цыганку, то винила себя и каялась, что погналась за нею: теперь не было бы так тяжело.

Она старалась забыть испещренное морщинами темное лицо и угасающие глаза. Но они все время всплывали в ее сознании и возникали слова: «Да-а, закрыта дорога его назад».

Надежда на возвращение мужа не сразу покинула Мекечи, не сразу погасла в ней. Она еще теплилась в глубине, но постепенно теряла силу и уверенность. Та, прежняя вера была глубокая, стойкая.

Бежали дни, месяцы, и как-то незаметно начали рваться нити золотой надежды, как струны топшүра...

Стоял на дворе месяц возрождения — тулаан<sup>1</sup>, и безоблачным был весенний день. В такие дни любо чабанам, пасущим овец на солнечном склоне. Солнце подогревает бока горы, и они исходят паром. Вокруг просторно, далеко видать и пахнет весной. В сумрачном, пропитанном дымом айле сидеть неохота, так и тянет на воздух, хочет-

---

<sup>1</sup> Тулаан — апрель.

ся дышать им, вбирать его в себя, бродить под ярким солнцем. Недаром говорят в народе: в месяц возрождения все оживает, суслики и те из нор выскакивают поглядеть на солнышко.

Как бы там ни было, но Мекечи не пришлось в тот день выйти из аила. Напротив, с соседних стоянок, по одной и по две, верхами и пешком, тянулись к ней женщины. Как же, надо оказать помощь Мекечи! Мекечи тяжело! Довольно до ближней юрты долететь новой вести, а дальше она найдет дорогу.

Прошло несколько дней, и с гор, как весенние ручьи, побежали слухи по Куулгы:

— Вы не слышали — Мекечи родила?

— На кого похож новорожденный?

— Трудно сказать.

— Хи-хи-хи.

— Сколько можно ждать бедной мужа!

— Говорят, мальчик, что ли? Ничего, когда-нибудь да будет мужчиной, кошма тянется, человек растет.

— Да если говорите, что из рода телос, так ждите: не простым человеком будет, я не зря болтаю, посмотрите...

Вот такой пошел разговор по белу свету, когда в месяц возрождения в год 1951 родился Монкуш.

Услышав, что дочь принесла суразенка, дед Аба не пришел в ярость. Как обычно, он был покоен, будто ничего не случилось. Думал, долго курил, а под конец обронил негромко:

— Что же, это неплохо. Что плохого в том, что ребенок родился? Суждено ему богом жить под солнцем — значит, должен был появиться.

Но тетушка Тари поднялась на дыбы. Лицо ее съежилось, точно сухая береста, брошенная в огонь.

— Как смотреть-то теперь на людей?! Бессовестная! Что сказать, где найти оправдание, если вернется Учур, твой единственный зять?!

— Хватит, не болтай! Перестала верить, что ли, в меня, или до тебя не доходит, что я давно уже знаю: Учура нет больше. Он на том свете, нечего и ждать...

Не сразу потушишь пламя, если вспыхнула береста. Тари не унималась:

— Нет, люди, нет! Передайте ей, пусть забудет, как открывается наша дверь! Пусть на глаза не показывается со своим суразенком!

С тех пор и Эрдену было как-то неловко перед людьми. Он тоже сердился на мать. Вернувшись летом на каникулы из Онгудая, где теперь учился и жил в интернате, он не торопился съездить к матери на стоянку. Жил в деревне, работал в сенокосной бригаде, вечерами возвращался к Аба и Тари.

И Мекечи не спускалась в деревню. Зимой и летом — все на стоянке, все на работе. Изредка лишь появлялась ради старшего сына — ей хотелось взглянуть на Эрдена хоть издали. А в зимние месяцы она не забывала послать через людей в Онгудай талкан<sup>1</sup> и масло и только просила: «Скажите, что от бабушки с дедушкой».

...Когда отец уезжал на фронт, Эрдену было всего три года. Обычно, придя с работы, он играл с первенцем, вскидывал его, приговаривал:

— Если б мог я достать золотую луну, достал бы тебе, сынок, а ты катал бы ее по полу колесом! Катал бы, а?

Эрден тогда даже не представлял, что отец уедет куда-то и не вернется. Отец мог уехать на день, на два, но не больше. И теперь он помнился смутно. Но не забыл — это он точно помнит — смех и слова его: «Если б сумел достать я луну, ты бы катал ее по полу колесом»...

А Монкуша, младшего брата Эрдена, никто, кроме матери, не ласкал. Когда у него показались первые зубки, никто не улыбался широкой и доброй улыбкой, никто не прижимал его к сильной груди сильной рукой. Монкуш привык кочевать с матерью по стойбищам. Когда настала пора идти в школу, он впервые увидел деревню и удивился. Он думал, что на свете живут лишь телята да горы, цветы да травы, а среди них мальчики, гоняющие телят...

Идут годы... Вот опять на Алтае лето, и непрестанно кукуют кукушки у подножия Уч-Сюмера. Они, вероятно, и сами не знают, сколько радости принесли и скоту и людям. Ведь зимой их, кукушек, у подножия Уч-Сюмера не бывает...

---

<sup>1</sup> Т а л к а н — жареный ячмень.

Три дня ходил Эрден по гостям, по знакомым аилам, угощался аракой, потом рыбачил на берегу Куулгы, съездил к Яманай, показал Фатиме дорожки своего детства, а Фатиму представил родным горам и ущельям. А тут как раз подоспел сенокос, и Эрден, как и в прошлые приезды, только теперь с Фатимой, прибыл в бригаду, что готовила сено в урочище Ак-Кообы. А Монкуш еще где-то докашивал луга.

Месяц малой жары густо пахнул скошенным сеном, обдавал разнотравьем. Небо и горы смыкались, прессуя едкие, острые, сладкие запахи. В долинах, в плотных травах, мелькали молниями косы, шуршали, вжикали. Фыркали в зарослях спутанные кони. То тут, то там взрывался смех, кто-то затягивал песню...

Фатима в неизменных полосатых синих брючках и в белой кепчонке, надвинутой на нос, шла с граблями в ряду женщин и девушек, ровняла валы, собирала копны.

Эрден работал у зарода. У стогометчиков имелся кой-какой запасец «для промочки горлышка» в тажауре из бычьей кожи. Когда солнце сползло к горам, а воздух ощутимо посвежел, мужчины стали все чаще отирать пот, останавливались, косились туда, где припрятали тажаур. Множились комары, не давали покоя.

Едва закончив вершить, метчики расселись в тени стога, закурили. Закурили — заговорили... О войне, пожравшей лучших богатырей Куулгы, обобравшей колхоз, о том, как бы устроилось так, чтобы война и не снилась людям.

А Эрдену, конечно, вспоминалось военное деревенское детство, горькое и сладкое одновременно: игры в войну, несомненно, такую же, какую вели взрослые, драки с ребятами, ловушки для сусликов и кротов, петли для зайцев.

— Как ни придешь — нету, как ни придешь — пусто, — рассказывал он едва ли не с прежним мальчишечьим азартом. — А раз подходим — в петле мечется заяц.

— Вот радость-то! — хихикнул кто-то.

— Радость-то радость, да была она преждевременной, — засмеялся Эрден, вздохнув. — «Заяц, глянь, заяц!» — заорали мы, бросились сломя голову, а он, с

перепугу, рванулся, порвал петлю и был таков... только хвост показал...

— Это же точно как Монкуш охотился! — опять засмеялся кто-то. — Расскажи, Ямандик.

— Бросьте, ребята...

— Нашли кого упрашивать. Да чего там, давайте я расскажу, — вызвался один из парней. — Решили мы на охоту сходить в Ойбок. Ну, рассадили людей по местам и пошли будоражить, гнать на них косуль. Слышим выстрел как раз там, где Монкуш уселся. Дело недолгое, далеко разве? Наскочили. «Ну как?» — кричим, а Монкуш вот таким манером показывает: «Свалил, конечно, вон дрыгает ножками в траве, идите-ка обдерите шкуру!» Глядим — и правда козел. И чуть за ноги уже не взялись, а он как вскочит — и нету. Правда ведь так было, а?

Ямандик усмехался. А чего тут говорить? Все и так понимали, пуля едва не задела козла, он и грохнулся в обморок, а Монкуш от радости — «обдерите шкуру».

— Ничего, попадет в армию, научится точно бить, — сказал Эрден. — И охотником станет, вот увидите.

Хорошо в такие-то вечера! Тихо ноют спина и плечи, подувают с полей прохладные ветерки, колеблют огонь на земле. Солнышком мигает огромный костер. С наслаждением тянешь горячий чай, слушая всякую всячину. Кажется, и природа стихает, прислушиваясь.

Где-то в овраге журчит, разговаривает речушка. От травы и лесной чащи веет теплом. Мелькают таинственные тени. Красным джейраном, медленно удаляясь, скачет луна по горам. Только что сметанные зароды задумались под сумрачным небом. В росистой траве поют, подзадоривая друг друга, перепелки. В углах шалаша, крытого сеном, шуршат мыши.

Люди угомонились. Кое-кто стелет на ночь. Эрден закурил сигарету, задумчиво глядя в огонь.

— А скажите, Эрден, в чужих городах вы скучаете по Куулгы? — нерешительно произнес вдруг девичий голос рядом с Фатимой.

Он покосился, всматриваясь. Девушка, крупная, с полными развитыми плечами, округлыми руками, напомнила кого-то, но он не мог сообразить — кого.

— А мне ведь не узнать, совсем другое поколениеросло,— сказал он.— Остается только спросить, чья вы дочка?

— Кертешева она. Камылды Кертешева — помнишь?— сказала тетушка Эштен.

— Вон оно что!— Эрден смотрел на Нину Кертешеву удивленными глазами, думая, что девчонка пошла по отцу — Камылды костистый, здоровый был парень, и вон уже какая дочь у него.— Ну, как поживает отец, что делает?

— Пасет овец,— ответила Нина коротко и потупилась. Эрдену показалось даже, что она покраснела.

— А что ж,— сказал он.— Значит, силенка еще имеется.

Нина подняла глаза, словно хотела что-то спросить, но Эрден будто не заметил, обратился к высокому тощему старику, по другую сторону костра неторопливо глотавшему чай из большой пиалы, сделанной из березового нароста:

— Дедушка Кондюбей, по сколько нам было лет, когда возили копны в вашей бригаде? Камылды уже отцом сделался. Ох и работали!

— Бывало, как установится ведро, никто не знал отдыха. Стога вершили даже под луной, не то что теперь,— недовольно отозвался дед, хлебывая чай.— Теперь зарод еще не готов, тучи нависли, вот-вот дождь хлынет, а парни на часы смотрят: подошло к шести, все бросят, на коней — и в деревню, точно срочный приказ получили.

— Вечно ты, Кондюбей, недоволен молодежью, будто они тебе ноги оттоптали,— проворчала тетушка Эштен и подбросила сухих поленьев в костер.— То было время большой войны, Эрден. Нет, вру, война-то окончилась, но трудные годы шли.

— А теперь что, корма для скота не нужны?— не унимался Кондюбей.— Может, придумают воздухом скот кормить?

— Ай, привыкли вы только свою молодость хвалить да свое поколение,— не выдержала Нина Кертешева.

— Как говорится, своя рубашка ближе к телу,— засмеялась тетушка Эштен.— Э, да ладно, скажи-ка

лучше, Эрден, правда, вспоминаешь ли когда нас, стариков, или хотя бы дедушку Аба?

— Зачем бы тогда я отпуск свой здесь проводил?

— Хороший конь находит дорогу домой,— заметил Кондюбей.

— Об этом даже в песне поется,— подхватил Эрден.— Как же там? Послушай, Фатима: «Конь чужой не станет конем твоим, тоскуя по родине, он уйдет. Невеста с чужбины не станет тебя любить, со слезами вернется к порогу родному...»

— Про коня ничего, а насчет невесты... не очень-то современно, а, балам?— даже не обернувшись к мужу, сказала Фатима Нине Кертешевой.

— Если ты это про себя, то ты — настоящая алтайка, честное слово!— воскликнула Нина с нежностью и прилегла стриженной головой ей на плечо — только сейчас Эрден осознал, что эта большая девушка постоянно держалась возле Фатимы, смотрела на нее с восхищением и даже волосы причесала так же.

И что-то теплое повернулось в его груди.

— Нина, а мы с твоим отцом вот здесь, в Ак-Кообы, как-то сено возили, и он потерялся. Испугались, мало ли, думаем, что может случиться? Бросились искать: «Камылды, Камылды, где ты?» А он сидит себе в седле и спит. А конь его сошел в сторону от дороги и пасется в темноте.

— Не думали, что ночь над головой, а работали,— опять вставил свое Кондюбей, пытаясь трубкой.— Это я тоже хорошо помню. Камылды — человек. А рос как? Чуть ли не из одной чашки с дворняжкой ел.

— Потому, наверное, и Нину всегда с собой таскал,— улыбнулся Эрден.— Посадит к себе на коня и ездит. «Пока, говорит, голова на плечах, никому не дам дочку в обиду, уж не позволю мучиться от голода иль унижения, выучу, погодите, в ученого человека — пусть все завидуют, парчой-шелком одену, соболей куплю...»

— А я два года подряд пыталась поступить в институт и оба раза проваливалась,— громко и хрипло сказала вдруг Нина и, обхватив колени руками, сжалась, подняв полные плечи.

— Ну вот, мужики, собрание у вас тут продолжается, что ли? Как соберетесь — другого нет разговору, как про дела. Ну, какие шелка-бархаты по нашему житью? У Камылды пятый народился. А на соболей Камылды и не охотится, день-деньской в работе. Вот разве женишок найдется, собольком одарит? — ласково оглянулась на Нину тетушка Эштен, и круглое, красное от костра лицо ее так и лоснилось, так и играло.

Нина не оборачивалась, и все молчали, будто и впрямь обдумывали ее слова...

— А говорят, в наших местах маралов стало много? — громко, с не очень естественным оживлением спросил Эрден.

— Куда они денутся, много их, только мы с ними, с маралами, не связываемся, — торопливо пояснила Эштен, — нельзя нам, никогда это у нас добром не кончается.

Эрден затянулся сигаретой, вглядываясь в караван гор, бредущий под сумрачным небом и несущий на могучих спинах леса, полные зверя.

— Егерей, конечно, бояться, — сказал он задумчиво. — А я, между прочим, достал лицензию на марала. Ничего бы парочку маральных рогов привезти своим ребятам, — поди, в зоопарке только и видели, да и то не все.

— Ты им золотой корень увези, — сказал дед Кондубей. — Вот золотой корень надо увезти! Кто пьет настой из золотого корня, обязательно здоровеет, очень целебный, не зря говорят — корень жизни. А марала — его не полагается стрелять...

— Это кому не разрешено. А у меня, говорю, лицензия...

— Вы хоть и офицер и живете не здесь, а ведь тоже алтаец, — вмешалась неожиданно Нина.

— Пожалей ты своего дедушку Аба! — сказала и тетушка Эштен.

— Да уж дед Аба у них первый мудрец, он все знает! — впервые подал голос Ямандик, присевший к огню, и было неясно, всерьез он или смеется.

Никто не подхватил шутки, но никто не поддержал и Эрдена, не вызвался пойти с ним на охоту. Даже молодые

ребята сидели с застывшими лицами, глядели в костер. Эрден и не хотел рассказывать им про лицензию, но уж так получилось.

«Дела-а,— думал он теперь,— а еще говорят, недавно было такое деловое, такое бурное комсомольское собрание...» И все в нем кипело, и напряглись скулы, и он уже собирался произнести обвинительную речь, как Фатима вскричала:

— Смотрите-ка, горный дух! Эрден, это он уже за тобой гонится!

Все обернулись.

В тени шалаша белела невысокая лошадь, а возле возилась женская фигурка — по джинсам, заправленным в сапоги, все узнали ее.

— Да это Кымыс! — воскликнула Нина. — Кымыс, разве ты за кем-нибудь гонишься? Скажи — Фатима глубоко ошибается, верно? Ты просто дорогу сегодня спутала! Ты скакала, наверно, в урочище Соодек, где косят?

— Эта Фатима вечно чего-то придумает, — сказал Эрден, улыбаясь.

Кымыс подошла к костру, обвела всех взглядом, наткнулась на насмешливое лицо Фатимы и, глядя ей прямо в блестящие круглые глаза, рассмеялась, даже расхохоталась:

— Конечно, Эрден, никто из них ничегошеньки не понимает! Совсем никто ничего не понимает! А верно, искала я одного человека, прямо на крыльях летела — конь у меня крылатый.

— Как же он, бедный, подвел тебя? — едко сказала Нина.

А Фатима легла головой на колени к мужу и закинула ногу на ногу.

— Вы что это, девчонки?! — прикрикнула Эштен. — Человек голодный, с самого обеда во рту росинки не было. Садись, балам, ужин есть еще, там осталось.

— Не хочу я ничего, карган-эне, меня так накормили сегодня! Только чаю. Только чаю! Что-то мне нехорошо, — сказала Кымыс устало и почти упала к костру...

Яманай спускалась в деревню через урочище Соодек. Она любила это местечко, может, потому, что слишком многое, давнее, связано у нее с ним. Когда-то, еще совсем молодой и отчаянной — а она была отчаянная! — она забралась сюда со своим трактором, разворачивая тропу, снося обочины, поросшие травой, валя придорожный кустарник, и вспорола долину лемехами, словно барана, вывернула верхний плодородный пласт, заставила землю принять зерно, чтобы возвратила потом сторицей алтайцам. И сколько после того было долин, сколько гектаров целины подняла она, но эта — эта словно на всю жизнь стала свидетельницей ее первой любви.

С тех пор много раз колосилась на поле пшеница, белели, сухо шурша на ветру, овсы, а теперь вон по пояс вымахали кормовые травы, ходили волнами, словно сизое море. И плыли по нему корабли, волнуя знакомым урчанием — кто-то из куулгинских механизаторов докашивал последнее.

Яманай слезла с лошади — то ли непросто ездить верхом, когда женщине под пятьдесят, то ли жарко стало в шубейке: выбралась поутру, забоялась простудиться, то ли захотелось узнать, кто это косит в ее долине.

Один из тракторов по внешнему кругу подходил к ней. Она узнала ДТ-54 Монкуша и его самого и помахала.

Поравнявшись, Монкуш остановился, поздоровался (ох и уважали ее трактористы, а ведь не первое уже поколение!) и выскочил из кабины.

Присели, заговорили, в это время подплыл второй, и маленький, сбитый, как колобок, Байрам тоже побежал к ней, разбрасывая сапогами траву.

Дух стоял нестерпимый, пьяный, мешаясь с дымом, он наполнял Яманай особым весельем. Она рассказала, как были у нее Эрден с молодой женой, как вспоминали «Черную силу», как понравилась ей сноха Монкуша — видать, любит ее Эрден, а она уважает его все равно как алтайка.

— Чуешь, Байрам, почему сейчас, когда мы заканчиваем покос, прибыла к нам знаменитая Яманай, без

имени которой не обходится ни один доклад в районе? — с важностью, равной важности деда Аба, проговорил Монкуш, лукаво щуря черные, масляные глаза.

В веселые минуты морщинки на темном скуластом лице Яманай начинали странно резвиться. А если собиралась сказать нечто важное, то у самого рта подрагивали какие-то жилки.

Несчетные морщины Яманай побежали, побежали вокруг узеньких глаз.

— Да, да, Монкуш, Яманай из рода телос приехала проверить, как вы справляетесь без нее с полем.

— О, это я еще вчера предвидел! — надувшись, сказал Монкуш. — Для начала попросим у вас самосада, выкурим трубочку, а потом садитесь на мой ДТ — покажите пример молодым.

Они с Байрамом рассмеялись. Рассмеялась и Яманай.

— А что, — отвечала она задорно, доставая табак и трубку и угощая ребят, — можно и показать. Я вот спускаюсь в деревню, чтобы подать заявление в правительство — не пустят ли меня в космос? А трактор что, трактор — дело привычное...

— Так, может, и вправду сделаете кружок? — спросил Монкуш, с наслаждением затягиваясь крутым табаком Яманай, посмеиваясь и все же испытующе поглядывая на солидную женщину в теплой бараньей шубейке с цветной оторочкой, в черной бархатной шапочке и мягких, прекрасной выделки ичигах.

— Я бы села за руль, конечно, если бы вы меня, парни, чаем напоили, какая сила без соленого чая?

— А вот сделаем один гон — и раздуем костер, как раз завтракать будет время, а?

— Эх, была не была, пойдем к твоему коню. А своего я вот здесь привяжу, постоит.

Поле исходило паром, сияли в небе белоголовые вершины, и шли к трактору далеко не молоденькая Яманай и молодые сильные парни с мурлыкающим транзистором через плечо.

Монкуш посадил Яманай, обежал машину, уселся на сиденье рядом и начал показывать и объяснять:

— Вот это — муфта сцепления. Для подачи топлива

смотрите не забудьте вот на эту педаль нажать... Особенно на подъеме, а то заглохнет.

Байрам тоже мычал, что-то подсказывал. Оба с интересом заглядывали Яманай в лицо — им и хотелось, чтобы она повела трактор, и так и подмывало испытать ее.

Яманай сбросила шубу еще на земле, где курли. Советы ребят доходили до нее издалека, она не вдумывалась в них, хотелось только не ударить лицом в грязь, плавно тронуться, начать тот забытый желанный круг.

Байрам, намотав шнур на маховик, дернул несколько раз, мотор заработал, выбивая густой черный дым. Сердце Яманай забилося, казалось, не в груди, а в глотке и так и норовило выскочить. Она всеми силами старалась не выдать, что трусит. Пока Байрам регулировал мотор, из трубы вместе с дымом вылетали синие искры.

Монкуш закричал сквозь гул и треск:

— Выжимайте сцепление!

Старая Черная сила послушно выполняла команды.

— Включайте скорость... вот-вот-вот, не торопитесь, плавнее отпускайте, так... поехали! — Монкуш выглянул из кабины, махая откатившемуся Байраму.

Яманай сгорбилась, вся подалась вперед, словно собиралась взлететь, но видела что-то застилавшее путь. Лицо озабоченно, расширенные глаза, не мигая, смотрели вперед. Трактор велик, она же маленькая, нахваливавшаяся, как степной беркут, дрожала не меньше самой машины.

Монкуш, восхищенный, похваливал:

— Вот вы какая, оказывается... Тракторист настоящий, а?

Яманай не отвечала, поглощенная делом. Изредка оглядывалась, чтобы убедиться, что косилки идут ровно — трава ложилась аккуратными полотнищами. Она успокоилась. Ей стало легко, хорошо. Так вот косила бы и косила. Сияло солнце, зеленело поле.

Но пора и честь знать, не зарываться, старая! Вот уже шуба ее белеет, вот и конь ее задрал морду, заржал, наверно, в недоумении.

Яманай переключила скорости, сбросила газ. Не выключая мотора, крикнула Монкушу:

— Не выскакивай, здесь пересядешь! — и, открыв дверцу, заторопилась, скользнула на землю.

Скользнула — и повалилась, вскрикнув. Острая боль, пробившая ногу, на миг затемнила сознание. Открыв глаза, она увидела над собою громаду машины, Монкуша с Байрамом, их искаженные лица.

Пошевелилась и застонала: «Нога-а!» И села, подтянув левую ногу, подхватила ее руками, приподняла — и вся закачалась, сморщив посеревшее лицо: ниже колена ногу прошивала огненная боль.

Монкуш пытался дотронуться, Яманай застонала, задохнулась. Попробовали стянуть ичигу — что-то не пускало изнутри.

Стеная и охая, не вытирая слез, заливавших морщины, Яманай потребовала ножик и приказала Монкушу разрезать толстую, мягкую, прекрасной выделки ичигу.

Наконец ее стянули и ахнули: нога отекала и стала на глазах распухать.

С такой ногой Яманай уже не сесть на коня. Монкуш освободил от косилки трактор. Яманай с трудом взгромоздили на сиденье, и они с Монкушем отправились в Куулгы.

А что Куулгы? Больницы нет, только медпункт.

Подъехали к правлению, но «газика» председательского на месте не оказалось. И ни одной машины, чтобы добраться до Онгудая.

Яманай крепилась, пока Монкуш выяснял возможности. Когда он подошел к ней, расстроенный, потемневший, она, смахивая со лба бисеринки пота, выступавшие от непомерной боли, сказала:

— Своя колотушка голову не разбивает, вези, Монкуш, меня к тебе домой.

Монкуш подозрительно уставился на нее.

— А может, все же в медпункт? — спросил осторожно.

— Нет уж, какая тут помощь от Кымыс, вези меня, пожалуйста, к дедушке Аба...

Дед Аба осмотрел ногу Яманай. Она стала еще толще, раздулась, как жирный осенний барсук.

Аба, как обычно, не торопился. Шевелил тонкими бесцветными губами, шептал про себя беззубым ртом. Расспросив, что и как получилось, строго посмотрел на Монкуша:

— Ведете себя, как шальные мальчишки!— Привычно закрылись его глаза, разгладился ясный лоб.— Пора уgomониться, Яманай. Мало ли что было давным-давно.

Яманай и Монкуш молчали. Возражать было нечего, уж лучше погодить, пусть Аба выговорится и примет решение.

Аба приказал:

— Давайте барана!

— Ба-таа, мои бараны на стоянке, далеко схать,— постанывала Яманай.— Найди, Монкуш, тут, помоги, а я после отдам тебе...

Монкуш выбежал и вскоре затащил в аил здоровое белое упирающееся животное. Аба недвижно сидел у очага и курил.

Монкуш свалил барана, взрезал живот и, сунув руку внутрь, оторвал одну из основных кровеносных артерий. Аба поднялся. Сутулясь, велел располосовать брюхо и вытащить требуху. Быстрыми, умелыми движениями Монкуш проделал и это.

Тогда Аба взял у него нож и, вспоров желудок, попросил Монкуша помочь засунуть туда раздутую ногу Яманай.

Воздевая руки к небу, он проговорил залпом, на единой ноте:

— Пусть хозяева гор и рек, великие духи земли и неба возьмут белого барана, пусть помогут бедной Яманай излечиться, пусть ее дух не торопится на тот свет, пусть тело ее освободится от мук.

Он быстро опустил на колени, обернул бараний желудок вместе с ногой Яманай снятою, еще горячею, шкурой и завязал.

Под спину Яманай старая Тари, сновавшая возле, подложила подушку, подстелила мягкую кошму, чтобы было удобней прилечь.

А Монкуш тем временем разделявал и разрубал баранью тушу.

Тари стала бросать мясо в казан с кипятком, стоявший на тагане.

Оживился, задымился аил Аба. Все с нетерпением ждали, когда сварится мясо.

Монкуш и Яманай прекрасно понимали, что дело не в молитвах. И все же, когда опухоль стала спадать и отступила острая боль, Яманай невольно поежилась: уж не по молитве ли Аба снизошло на нее благословение духов, хозяев ее родных рек и гор? Уж не спустились ли они сами сюда? Еще она думала: как хорошо, что рядом в деревне живет этот худой, морщинистый, уже сгорбленный человек. Как могла она смеяться, когда кто-то заговаривал о его мудрости, и возмущаться, что он морочит народ? Теперь вот она лежала в его аиле. Ах, пока не грянет беда, ничего не уразумеешь...

Мясо сварилось. Заслоняясь рукой от пара, клубившегося над казаном, старая Тари большим деревянным черпаком вытаскала куски баранины в деревянное корыто. Отрезала по кусочку от каждого и побросала в огонь. Дед Аба приподнялся и, что-то быстро и невнятно бормоча, отламывал ветки от высушенного можжевельника и тоже кидал в огонь, отчего вокруг черного казана взвивалось жаркое пламя.

По окончании ритуала все стали есть мясо, запивая дымящимся бульоном. Чтобы Яманай не бредила ногу, к ней придвинули низенький круглый столик, положили отдельно куски баранины в миску и подали пиалу с бульоном.

Ели молча, сосредоточенно. Аба острым ножом отсекал от жирной грудинки тонкие пластинки и, погоняя их во рту, проглатывал. Даже передних зубов у него почти не осталось, и, когда попадался твердый кусок, он долго катал его, орудуя деснами и языком.

Человек, давно не евший мяса, подобен животному, давно не лизавшему соли. Запах вареного мяса он почует издали. От одного запаха начинает слюни глотать, все нутро его приходит в движение.

Зимой другое дело. Зимой в селе не живут без мяса. К осени подрастет молодняк, нажирется на альпийских лугах за лето. Каждая семья уже в ноябре колет про

запас бычка либо годовалого жеребенка. Да прибавит еще двух-трех баранов. И, считай, на зиму обеспечены. А без мяса — житья нет. Тоскливо и тяжело без мяса алтайцу. Потому-то он день и ночь, зимою и летом, ходит за скотиной.

Но где возьмешь столько скота, чтобы круглый год резать и есть? Требуется передышка. Так что летом мясо редко, разве только в колхозной бригаде поешь, да и то не как дома.

Сегодня после мяса, потея, с роздыхом, пили горячий чай с молоком и солью.

Когда дед Аба придвинулся к больной и начал развязывать овечью шкуру на ноге Яманай, дверь неожиданно отворилась и на пороге встала Кымыс.

Она была в белом халате, с чемоданчиком — от ко-го-нибудь услышала.

Аба на мгновение растерялся — руки его остановились.

И Кымыс нерешительно замерла, но глаза и тело ее так и устремились к Яманай.

Та заволновалась: от порывистой Кымыс можно всего ожидать, любых неуместных слов, угольные глаза ее так и метались.

Монкуш вскочил, но спокойно и громко предложил:

— А, Кымыс! Пойдем-ка, Кымыс, прогуляемся! Нам с тобой тут нечего делать, без нас управятся.

— Что ты, — возмутилась Кымыс, — может, помощь потребуется?

Дед молчал, уронив на грудь серенькую, ушастенькую голову. А глаза Яманай с мольбой смотрели то на Аба, то на Кымыс и молили Кымыс и уйти и остаться.

— Тогда не стой у дверей, проходи, — показал Монкуш глазами.

Кымыс осмелилась и шагнула.

Дед Аба не просто сидел, закрыв глаза, он соображал. Сперва ему захотелось все предоставить девочке — пусть выкручивается как может. Однако Яманай-то была ни при чем, и он решил показать, на что способен Аба, что он такое есть! Момент был подходящий, и нога Яманай была для него сейчас как сладкая кость для собаки. Эйт, он не уступит эту «хорошую ногу», вылечит

сам, докажет, что он не хуже любого городского врача.

Такие ноги Аба не в новинку. Тяжело предсказать, предвидеть, а нога, вот она. Тут он, как дикий гусь, сухим из озера выпорхнет.

Моментально все взвесив, Аба приступил. Кымыс, обследовав ногу Яманай, теперь поддерживала ее. Аба молчал. И вдруг поднял к ней взор:

— Для чего нам эти вот пальцы? Пальцы должны уметь говорить с больной ногой, разузнать, что случилось, и мне шепнуть. У моих пальцев есть язык, а у твоих, девочка?

Кымыс ждала, к чему он клонит. А пальцы деда ловко скользили по желтовато-синей ноге Яманай. Опухоль действительно опала. Аба смыл теплой водой налипший навоз и снова заработал, массируя, поглаживая ногу, пристукивая костяшками пальцев и непрестанно шевеля при этом высохшими губами. Яманай вскрикивала, стонала, дед не обращал внимания.

Но внезапно, взглянув на нее, он почему-то спросил:

— Может быть, тебе лучше будет с Кымыс? Она же ученая, токтыр!

Кымыс опередила Яманай:

— Что вы, дедушка Аба, что вы?! Только вы можете тут помочь. С такими переломами лишь в Онгудае да в городе справляются.

Старик едва не рассмеялся. Его серая ушастая голова быстро и весело приподнялась, завертелась, как шустрая, хитроватая мышь. Он, было видно, торжествовал, в острых глазах так и посверкивал огонек, и он попросил Кымыс повторить.

Она уловила какой-то подвох, но покорно сказала:

— Да, в Онгудае или в городе... А что?

— А то! — веселился дед. — Только кто сказал тебе, девочка, что у Яманай перелом?

Кымыс вспыхнула, а дед, как пришпоренный конь, готов был взвиться на дыбы. Но он умел себя сдерживать. Глухо кашлянув, он изрек:

— Мои разумные пальцы только что мне подсказали, что перелома у Яманай нету, только несчастные трещины. Так что токтыр ошибается.

— Я не доктор,— встала Кымыс,— я всего-навсего акушерка.

Аба вылупил глаза. Но это было чистой воды притворство, он просто бурно радовался. А поостывши, прищурился:

— Так чему же ты тогда столько лет училась?

— Как чему? Разве акушерство не дело?

— Может быть, может быть, это твоя неученая бабушка знает лучше меня.— Аба весело покачал головой.— А я вот никогда не учился, ни в Москобе, ни в Ойрот-Туре<sup>1</sup>.

— Что ты пристал к девчонке!— прикрикнула Тари.— Подумай, тебе восемьдесят пять, а ей? Займись делом.

Но дед ерепенился:

— Так как же быть дальше с ногой Яманай?

Кымыс не поддавалась, в голосе у нее засквозила даже шутливость:

— Я-то знаю, но ведь дед Аба сделает это лучше. Надо бы гипс наложить, верно я говорю?

Дед не ответил.

То ли от разгоревшегося спора, то ли от известия, что нет перелома, Яманай успокоилась, и вокруг узеньких глаз вновь забегали морщинки.

— Она у нас молодец, бабушка Аба, от верной смерти спасла жену Камылды, теперь у них сын растет; думаю, настоящим доктором станет.

— Может быть. Но меня тогда уже не будет,— мирно прохрипел Аба, но тут же вскинулся:— Все вы готовы клевать меня!.. Лучше скажи, Яманай, сколько тебе годков-то точно?— И отошел к большому сундуку, вытащил какие-то струганные палочки разных размеров.

— Осенью сорок девять стукнет.

— Когда это осенью?

— В месяце гона маралов<sup>2</sup>.

Монкуш, сидевший в стороне, присвистнул про себя: «Что это мы считаем ее старой? Однако выглядит она плоховато, «Черная сила».

---

<sup>1</sup> Ойрот-Туре — старое название Горно-Алтайска.

<sup>2</sup> Месяц гона маралов — сентябрь.



— Значит, так, Яманай, около четырех месяцев жить тебе с моими волшебными палочками. Вот сейчас подберу и обую тебя.

Лучинки были тонкие, умело обструганные, по длине каждой обнаружили у деда тонкие кошмы, которые он ловко подсовывал под лучинки.

Кымыс, глядя на эту операцию, вспомнила курганского хирурга, поднявшего на ноги знаменитого прыгуна Брумеля. У нее есть книга об этом враче — «Высота». Высота Брумеля и высота хирурга. Природное дарование, любовь к людям, чуткость к человеческим страданиям сделали из пастуха-горца прекрасного хирурга, умеющего сращивать и наращивать кости, выравнивать врожденные дефекты. Природное дарование, чуткость к человеческим страданиям, любовь к людям сделали из Аба костоправа! А разве мало было таких в народе?

— Ты прочел книжку Брумеля, которую брал у меня?.. — оглянулась Кымыс на Монкуша.

— А знаешь, и я думаю о том же...

— Кнежке-кнежке, разве в них правда? — рассердился неожиданно Аба. — У тебя, Яманай, не завалялись ли там, на дне материнского сундука, царские медные деньги?

Все переглянулись. О чем это он? Смеется над ними?

— Откуда они могут быть у Яманай? — ворчливо подала голос Тари. — Нешто она думала, что когда-нибудь будет худо с ногой? А у тебя не остались разве?

Тогда Аба достал залежалый мешочек и вытряхнул на столик какие-то медяки. Затертые, старые. Дед выбрал один, остальные завязал аккуратно. Придвинув фарфоровую пиалу, стараясь не уронить ни крупницы, стал подпиливать над нею медяк. Опилки, тускло блестя, сыпались в пиалу. Аба плеснул туда чаю, размешал ложечкой и подал Яманай:

— На, выпей, медь помогает срастаться костям.

Яманай выпила, а дед объяснил:

— Медь попадает прямо на то место, где трещина и излом... А теперь отдыхай. Завтра еще дам...

И тут же, натянув на плечи шубу, Аба лег у жаркого еще очага.

Эрден спал плохо, ворочался с боку на бок, просыпался от кошмаров и снова смежал побежденные сном тяжелые веки. И снова перед ним проносились, подрагивая черным влажным носом, тонконогая косуля. И снова проплывал, вскинув ветвистые рога, красавец марал, медлительный и красный, как луна у горизонта.

То он видел лесистые сопки, подернутые морозцем. Среди глубокого снега там и тут торчали жерла пушек. Надрывно выли зенитки, с оглушительным визгом летели один за другим снаряды, оставляя клочья дыма. Возникали лица знакомых солдат, офицеров. И вдруг он увидел Монкуша — в толстом солдатском ватнике, в длинных, негнувшихся валенках. Брат бегал, носился, подавая снаряды. Ползли танки-мишени, гудели в небе самолеты, сверкая синими и красными огнями. Монкуш почему-то стал подавать команду: «По танку — огонь! По танку — огонь!..» Дым и гул над полигоном — Эрден остро сознавал, что это полигон. После двух-трех залпов возле зенитных орудий исчезали сугробы. Бежали солдаты, Эрден радовался за брата, видя, как четко он машет рукой и кричит: «По цели — огонь!»

«Он у нас молодец, я очень полюбила Монкуша, это наш красавец Монкуш, смотри, какой он мужественный и нежный, мы обязательно его женим», — болтала Фатима, закрывая от Эрдена своим смуглым лицом с узеньким подбородком и большими серьезными умными глазами и полигон и брата. А может быть, это вовсе не Фатима, а мать, конечно же, это Мекечи, это ее остренький смуглый подбородок, она такая же высокая и гибкая, как Фатима, — почему же он не замечал, как они похожи?

Но это уже точно Мекечи, это ее оленьи, суженные к концам глаза. Впрочем, нет, это смотрит на него марал, насмешливо или печально? «Фатима, Фатима, он ушел, ушел, он только что был здесь!»

С тяжелой головой Эрден поднялся все же привычно рано, привычно сделал зарядку, но не побежал на речку, чтобы натаскать до завтрака сверкающих чешуей жирных хариусов, а бездельно болтался по двору.

За завтраком Фатима спросила: отчего он такой взбаламученный?

— Спалось отвратительно, измучился, думаю — зов тайги всего-навсего, — усмехнулся Эрден.

— То есть?

— Как тебе объяснить? Живет во мне дикая кровь кочевых майманов.

— Ну, кровь майманов мы с тобой, Эрден, теперь оправдаем — покочует по белу свету, — ухмыльнулась Фатима. — Я считаю, это даже здорово, что у нас с тобой такие корни. Ведь древние турки — это наши общие корни.

— Так вот я насчет этого самого зова тайги. Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит, — засмеялся Эрден. — А ты, Монкуш, как?

— Что, уже сегодня? Не знаю, надо бы с председателем утрясти.

— А мы сперва проверим и пристреляем ружье. У нас ведь где-то было ружье? Живо еще?

Когда Монкуш внес после завтрака старое кырлу — нарезное шомпольное ружье, не то китайского, не то тибетского образца, лицо Эрдена вдруг посуровело и замкнулось — Фатима не любила у него такого лица, говорила, что в такие моменты он словно не доверяет себе или «просматривает» себя.

Он осматривал, крутил и вертел в руках ружье, прикладывая к щеке, прицеливался, а сильные, цепкие руки его дрожали.

Никто не понял, что ему на миг представилось, как бы отец его Учур из сеока майман держал это ружье, смотрел на далекие горы, готовился на охоту. Мог же он вернуться с фронта живым и здоровым и нянчить теперь старое ружье, непохожее на те, военные. Этим он не убивал людей, не направлял его даже на собак. Домашние животные есть домашние, кто направит на них ружье, у того оно потеряет меткость. Прямой, длинный ствол. Два белых кольца. Одно вблизи затвора, другое — у самого входа в пулевое отверстие.

Вот так Учур гладил бы ружье, а где-то там, среди утренних росных трав, бродили бы горные косули. Они

созданы богом для добычи охотника. Но во множестве их тоже нельзя стрелять. Учур — меткий охотник и добрый табуищик, он не будет преследовать зверя с жадностью. Ему хватит одного-двух. А это разрешает и сам батюшка Алтай. Щедр Алтай для честного человека, но коль родился алтайцем, тоже будь добрым, не жадничай.

Это на войне следует убивать. Враг — он хуже зверя, у него нет сердца, ему все равно, кто перед ним. Потому и Учур, воин и охотник из древнего рода майман, уничтожал врага безжалостно. Враг первым напал на него, пусть ему будет хуже.

— Ака!<sup>1</sup> — вдруг сказал Монкуш. — Ружье надо почистить, внутри, поди, ржавчина.

Эрден вздрогнул, долгим непонимающим взглядом посмотрел на брата.

— А ты ведь хотел съездить к Щербакову, поругаться и заодно взять у него ружье. Зачем возиться со старым? — сказала Фатима.

— Да, — опустил Эрден глаза, — хотел взять у него «оленя», охотничью двустволку... Но, понимаешь, раздумал.

— Почему?!

— Потому! — отрезал он без объяснений.

Фатима вздернула плечи, глянула на Монкуша, но тот исподлобья смотрел на брата.

Эрден взял себя в руки и тихо произнес:

— Это ружье отца. Понимаешь?

Монкуш молчал. А Фатима встревожилась: с ее Эрденем что-то делалось, он опять стал непроницаемо-неподвижен...

«Голос первой кукушки, балам, ты каким ухом слышал сперва — правым или левым?» — прозвучало в Эрдене так, что он задохнулся, прикрыл глаза. «Якши, якши, балам, ты должен быть счастливым, раз слышал правым ухом! Может быть, скоро приедет отец...»

«Чей же ты будешь, мальчик, не стесняйся, сынок, скажи...»

---

<sup>1</sup> А к а — старший брат.

«Я сын Учура...»

«Ах, какой молодец, как солдат отвечает! Быть тебе генералом! Сын Учура, того, что без промаха бьет? Знаю, знаю, он и там настрелял стервятников... Скоро приедет, конфет привезет».

«Завтра, завтра!»...

— Да,— жестко сказал вслух Эрден.— Это единственное, что осталось от нашего отца!— Он обернулся к Монкушу и вспомнил, что отцы у них разные. Хотел как-нибудь смягчить обиду, но у Монкуша и мысли, видно, не появилось обидеться. Ну да для него просто не существует этого понятия — отец! С детства старшие старались не говорить об его отце, обходили. И он привык жить без этой гордости и боли. Может, боль-то и была... Но теперь слово «отец» ничего уже не говорило ему...

— Надо бы смазки достать и теплой воды, Монкуш,— попросил Эрден, и тот, козырнув, четким шагом пошел в аил.

Эрден развязывал ремешки, прикреплявшие ствол к деревянному ложу, и гудел под нос грустную алтайскую песню. Алтайские песни всегда были при нем.

Когда Монкуш принес воду и смазку, Эрден, намотав тряпку на шомпол, стал прочищать ствол.

Прикрыв левый глаз, он долго просматривал ствол на свет и передал ружье брату:

— По-моему, блеск!

Они еще долго возились. Мыли, протирали, смазывали, собирали...

— Ну, товарищи-друзья, пойдете поглядим, на что оно способно.

— Можно и мне с вами?— вскочила Фатима.

— Если ты попадешь в цель, отвалю тебе килограмм шоколада. Весового.

— Согласна! А вдруг Монкуш попадет? Что за это ему?

— Ружье! Насовсем!— не задумавшись, выпалил Монкуш.

Эрден усмехнулся:

— А если я?

— То же самое, ружье! Идет?

— Идет-то идет, но боюсь, что брат мой останется без ружья. Я ведь тогда увезу его.

— Как говорится, ака, ковер покажет!

Эрден захохотал на весь дом, ему нравилась смелость Монкуша, и он объявил, что целью будет спичечная коробка, а расстояние — двадцать шагов.

На земле все рядом, все связано. Покажи со склона камушек, он непременно увлечет за собой другие, которые без него так и пролежали бы спокойно. Вот и старое отцовское кырлу заставило Эрдена многое вспомнить. Воспоминания цеплялись одно за другое, не желали одно от другого отстать.

В армии, особенно в первые годы службы, заспорят, бывало, на полигоне о точности глаза и меткости ружьем. Эрден не утерпит, расскажет о старом кырлу, о стрелке Учуре, о котором легенды ходили по Куулгы, и никто уже его не переплюнет, не найдет примера интереснее.

Ведь Учур, кроме охотничьей меткости, обладал способностью молниеносно ориентироваться, находить цель. Кырлу после каждого выстрела надо заряжать. И как заряжать! Засыпать в ствол порох, затолкать шомполом пулю, вставить капсюль в запальник. Случалось всякое. Иной от волнения, прежде чем засыпать порох, затолкнет пулю, и выстрела не произойдет, только негромко взорвется капсюль, пуля же останется в стволе. Хорошие охотники таскали с собой мерки для пороха, а пули клали за щеку, чтобы брать по одной, когда настанет час, не искать и не путаться в охотничьих принадлежностях.

До сих пор поминуют старики, как выиграл Учур мешок сухарей у одного продавца.

Продавец был нездешний и не знал о ловкости и меткости Учур. Да и мыслимо ли пять раз выстрелить из шомпольного ружья и притом попасть в цель, пока кто-то обежит вокруг аила. Ведь окружность аила не больше двадцати метров.

Продавец возмутился:

— Не трепись, Учур, ты даже двух раз не успеешь выстрелить из этой бандуры, пока я обегу аил.

— Возможно,— невозмутимо пожал плечами Учур,— но попробовать надо.

— И в цель берешься попасть?

— Не все, но из пяти пуль две положить можно.

— Условие?

Небольшое. Мешок сухарей. Сладких.

— А если проиграешь?

— Свою новую шапку из лисьих лап отдам.

— Богато... Ну что ж, друг... А мишенью что будет?

Учур обвел взглядом аил, заметил висящий бычий пузырь, приготовленный для топленого масла, кивнул на него:

— Повесь-ка повыше, к самому дымовому выходу. Пробежавшись, найдешь в этом шарике следы моих пуль.

Долго, говорят, рассказывал потом людям русский продавец об Учуре, хотя и проиграл целый куль сухарей. Сладких.

Дул прохладный утренний ветерок. У проселка под молодым солнцем на зеленых стеблях дрожали тысячи глазастых росинок. Неутомимо кричала, забивая других птиц, кукушка.

— Давайте на том вон пне поставим коробок,— предложил Эрден и пошел отмерять шагами расстояние.

— А как стрелять, лежа или стоя?— интересовался Монкуш.— Надо бы с подставки или с руки.

— Хоть как,— сказал Эрден,— кырлу увесистое. Если бы у нас с тобой была тозовка, можно бы и с руки и стоя, да не в спичечный коробок, а в монету.

Коробок поставили.

— Начинай, Монкуш,— предложил Эрден.

— По-моему, надо по старшинству,— возразила Фатима. Может быть, она жалела Монкуша.— Покажи пример, Эрден!

Эрден лег у бревна, положив на него ружье. Все замерли. Он не торопился, целился тщательно, долго...

Монкуш, разволновавшись, вдруг произнес:

— Ака, мы забыли договориться, сколько каждый должен сделать выстрелов!

Обернувшись, Эрден сказал спокойно:

— Есть старая примета, Монкуш: ты сказал мне под руку, теперь не попаду.

Фатима захохотала:

— Честное слово, Монкуш, он уже ищет оправдания, будь уверен, кырлу станет твоим, да он и так должен уступить его тебе.

— А я не желаю уступок,— хмуро сказал Монкуш.— Спор должен быть честным.

— Этот мальчик тревожит меня не на шутку,— примирительно усмехнулся старший брат и изучающе оглядел Монкуша, будто видел впервые.— Один выстрел пробный, три на пари, согласен?

— Начинайте, ака.

Эрден снова стал целиться, но в этот момент, откуда ни возьмись, явился выюнок-ветерок, промахнул над пнем, и коробка упала.

— Нет, мне явно не везет,— уже беспокойно и огорченно сказал Эрден и отложил кырлу.

— Тогда давайте мне,— решился Монкуш.— Не оседланного же коня тут проигрывать...

Спичечную коробку водворили на место. Но Эрден не уступил брату ружье и снова прицелился. В груди у него дрожало, он невольно торопился, боясь, что какой-нибудь выюнок сдует коробочку.

Раздался выстрел, охнул лес, отозвались дали, а коробка стояла на пне.

Эрден смущенно посмотрел на жену и брата, шагнул вперед, чтобы выяснить, в чем дело. Следов пули нигде не было.

На удивление всем, он опять невозмутимо сказал:

— Давайте-ка еще попытаю счастья.

Второй выстрел грохнул тут же, а спичечная коробка оставалась на месте.

— За мной еще два,— уже почти равнодушно сказал Эрден, заряжая ружье.— Только мне хотелось бы знать, за кого болеет Фатима?

Та воскликнула:

— Конечно же, за Монкуша!

— Так вот почему я промазал, ясно!— сказал Эрден.— Ну, поехали...

Эрден промазал снова и, побледнев, поднялся, протянул ружье брату:

— На, Монкуш, возьми насовсем!

Монкуш неловко покачивался, косясь то на Фатиму, то на Эрдену. Он словно не мог представить себе, чтобы брат не попал в цель, а может, радовался, что никто посторонний не видел, а то еще пустят слухи, что офицер не умеет хорошо стрелять. Вид у него был оскорбленный.

— Нет, Монкуш,— отвечал Эрден,— я не нарочно. Может, потому не получилось, что давно не стрелял из него. Неужели отец славился с этим ружьем? Или старое кырлу не хочет нас признавать?

— Монкуш, тебя-то оно признает, я уверена!

— Давай, Монкуш. Все равно ружье уже твое.

— Но ведь я знаю, ружье хорошее,— все еще подозрительно смотрел Монкуш на брата.

Эрдену были приятны его сомнения. Вовсе не потому, что видел в них соломинку. Приятно было, что брат воспитан и умеет почитать старших. Эрден давно привык к тому, что у него есть брат, привык относиться к нему снисходительно и заботливо. Теперь он почувствовал что-то новое. Монкуш, оказывается, на самом деле самый родной ему человек. Только у них двоих в жилах текла кровь их матери Мекечи. Почему же прежде Эрден не ощущал этого так искренне и глубоко? Как хорош, как общителен, как смел и весел и как вдруг стеснителен его младший брат! Его обуревало желание сделать что-то для Монкуша, учить его, помогать, поделиться последним. Подумать только, если бы не Монкуш, Эрден был бы совсем одиноким, как дерево посреди степи. Ни землю обойти, ни море переплыть...

Раздался выстрел. Фатима и Эрден разом оглянулись — коробки на пне не было!

— Ай да Монкуш, ай да молодец! — закричал Эрден, и веселое эхо долго несло по вершинам лиственниц. — Да я тебе не то что кырлу, я куплю тебе любое ружье!

Ах, как прекрасен, как ловок был его младший брат!

— Брат! — кричал он, обхватив Монкуша. — Брат! — И слово это наполнялось особым, горячим смыслом, теплой кровью омывая сердце Эрдену.

Монкуш, багровый, смотрел себе под ноги.

Больше Эрдена шумела и смеялась Фатима:

— Подумать только! Как здорово, а? Передо мной впервые настоящий охотник и мужчина!

— За ака остался еще выстрел, я думаю, он нам еще покажет...

— Кто это, что это думает тут показать?— неожиданно грозно прозвучало в стороне.

С дороги на поляну к ним съезжал всадник размеров огромных, рыжий, веснушчатый, с бородищей лопатой, на рыжем прекрасном коне, и во весь рот ухмылялся:

— Ба, кого вижу, Эрден!

— А!— нахмурился Эрден.— Вот, Фатима, познакомься, пожалуйста, ископаемый экспонат, редкий и веселый представитель тотемизма! Слишком веселый!

— Уже пронюхал? Я так и знал, что ты разъяришься.— Михаил Щербаков соскочил с коня и поймал руку Эрдена.— Но что мне делать?— жаловался он Фатиме, здороваясь с нею.— Лупят и лупят зверье. В одном Куулгы благополучно. Между прочим, стараниями вашего деда. Ей-богу, он мне отлично помогает!— И вдруг удивился сам себе:— И как это мне не пришло в голову раньше использовать ваш прекрасный обычай?

— Хорошенький обычай! Поганое суеверие, а ты его подогреваешь!

— Тебе жалко, что старик запугивает браконьеров?

— А ты предпочитаешь, чтобы они умирали от страха перед богом? Милый мой, ты роняешь их человеческое достоинство! Ну ладно, без шуток. Они же должны оставаться людьми. Да разве дело только в этих подлецах? Ты морочишь всю Куулгы! Едва заикнусь о мара-лах, они глаза отводят. Даже самые молодые! А уж со стариком-то что делаешь?

— Во-он оно что, заступаешься, значит, за деда, оберегаешь.

— Конечно,— спокойно ответил Эрден.— А ты оберегаешь его предрассудки и бог знает еще что. Ишь какого мальчика в напарники себе подыскал!

Монкуш и Фатима пошли на дорогу, едва разговор стал приобретать неприятную окраску. Теперь Эрден

повернулся, желая догнать их и не обращая больше внимания на Михаила Щербакова.

Щербаков уже не смеялся. Он шел за Эрденем, шаг в шаг, ведя в поводу коня, и, вероятно, думал.

— Послушай, Эрден,— окликнул он.— Я ведь только одному старику говорил всякие такие вещи про су-ээзи<sup>1</sup>, а его все равно ведь с этого не собьешь, ну и что — поговорим так-то и разойдемся.

— Подарочками покупаешь?

— Но старику так одиноко. Редко кто к нему забегает. Все Тари и Тари. А как он рад гостю! Как же я явлюсь с пустыми руками?

— Ты мне зубы не заговаривай! Ты и в школе был шутником. А теперь имеешь дело с природой. Понимаешь — с при-ро-дой! Да как ты можешь тут фальшивить хоть в чем-нибудь? Старику говоришь, а он — людям. А люди связывают это с несчастными случаями, пугают детей!

— Так ведь я не педагог, Эрден.

— Нет, Михаил,— остановился Эрден,— ты, как я понял, отличнейший педагог. Пропагандист!

— Ну, будет, будет, друг, забудем это...

— Нет, я этого не понимаю.

— Ну ладно. Постой.— Щербаков был уже так же красен, как его конь. Он глядел в землю, раздумывал.— Тьфу, действительно мальчишка! Но мы что-нибудь придумаем, Эрден. Слово!

9

Весь день солнце неистовствовало, и вершины Уч-Сюмера сверкали всеми гранями и рвались ввысь, словно ракеты,— признак, что постоят еще жаркие, погожие дни. Теперь солнце неотвратимо падало за горы, теряя жар и ослепительность. Столетние кедры, выраставшие перед путниками стеной, поглощали его блеск. Слышно было, как с узкой тропы из-под копыт лошадей скатываются камни. Умолкли птицы, только изредка в кустах посвисты-

---

<sup>1</sup> Су-ээзи — дух воды.

вала пичужка да громче становился тяжелый гул далекой реки.

Еще час назад Фатима и Тари суетились около рюкзаков, собирая припасы, а старик Аба смотрел недобрыми глазами на охотничьи сборы, и вот уже тайга.

Щербаков ехал сзади. Ему в тягость становилось молчание.

— Слушай, Эрден! — позвал он бодрее обычного. — Да ты не убивайся! Привезем старику маральего мяса, скажем, что никаких су-ээзи нету, что тотемизм — сплошное вранье, и все тут! Ну, хочешь, я буду сам говорить, он же мне верит.

— Как же! Близок локоть, да не укусишь.

Добравшись до правого склона одного из дальних хребтов, они остановились. Расседлали коней, привязали их на длинные арканы, отыскав травостой получше, разожгли костер.

— Воздух-то какой! — радовался Щербаков. — Эх, и славно заночуем мы здесь с тобой! Утром пойдем копать золотой корень, а вечером будем караулить солончак. Хорошо ведь, а, Эрден? Я тут все места знаю! И где маралы ходят, и где другой какой зверь...

Протянувшись на сотни верст, густела, чернела вокруг тайга. В вышине, над снежными и лысыми вершинами, дрожал свет звезд. Теплый ветерок играл пламенем костра.

Эрден лежал и, закинув руки за голову, смотрел на кедровые вершины. То и дело скользили в небе пугливыми косулями звезды. Когда они с дедом вот так же смотрели на звезды?..

«Сколько звезд на небе, Аба?»

«Поди ты, кто их, звезды, считал?..»

«Одна, две, три... десять... двадцать...»

«Детям нельзя считать звезды!»

«А почему?»

«Кто будет звезды считать, у того лопнет живот».

Эрден верил и побаивался...

— Ты о чем там задумался? — допытывался Щербаков. — Ружья у нас хорошие, без добычи не возвратимся. Так что будет подарок твоим друзьям, увезешь маральи рога. Слово!



— Как по-твоему, Михаил, какая наука самая важная в наше время?

— Наука?— удивился Щербаков.— Я как-то не задумывался. А ты, конечно, считаешь, что военная?

— Нет, Михаил, я по-другому думаю,— все еще отрешенно отвечал Эрден, поправляя головешки в костре.

Фыркали кони, шелестели под ними травы, ярко отсвечивали стволы висящих на дереве ружей.



— Так какая?

— Педагогика!— сказал Эрден, закуривая.

— Смотри-ка ты!

— Да, хотя бы потому, что из ребенка педагоги лепят человека — настоящие, конечно. Ребенок впитывает все, что внушают ему. Трудно уж потом это выбить из него! К чему приучили в детстве, что слышал от старших, условия, в каких рос и делался человеком, на всю его жизнь накладывают отпечаток.

— Тогда получается странно, не вяжется что-то,— ухмыльнулся Щербаков.— Ты рос с дедом, почему же не научился верить в су-ээзи?

— Вот потому-то я и считаю педагогику самой важной!— воскликнул Эрден.— Верил я, верил! Не только в бога, но и в черта. Во все предрассудки Аба. В то, например, что вечером нельзя выносить огонь из аила...

— Ну?!

— Конечно! С огнем уйдет счастье. Нельзя выносить вечером из аила молоко — не будешь богатым! Верил и в это...

Эрден принялся рассказывать, как привязывали они с Аба разноцветные ленты — дары горным духам, на деревья, когда одолевали перевалы или миновали бурные реки. Как в ненастные дни, в грозу, бросали арчин в огонь, задабривая хозяина неба.

Звезд высыпало все больше. И вдруг показалось Эрдену, что на всей земле, кроме них двоих, нет никого. И нет на земле огня, кроме их костра. Холодом обдало его. Едва брезжил смутный простор над темными спинами гор. Неожиданно совсем близко раздались прерывистые истошные крики.

— Гм, сова. Ишь, не спит,— заметил Щербаков.

— Нехорошая птица,— произнес Эрден с невольной интонацией деда Аба.— Слышишь, ухает: «Умри, умри!» Есть поверье, будто бы она пророчит несчастье. Глядишь, и правда кто-то умрет. Много такого слышал я от деда.

— Интересно, есть в этом что или так, совпадение...

— Ну что может быть? Неграмотный, темный, привык подчиняться природе.

— Но ведь как он погу-то Яманай, а?

— Так он же знает все кости на ощупь — строение, расположение. Мало ли таких людей в народе? Этого и наука не отрицает. А ты хотя и русский, но не лучше алтайского ярлыкчи!

Щербаков не рассердился, не вспылил, а весело расхохотался, повторяя:

— Алтайский ярлыкчи! — И добавил так же добродушно: — Давай-ка спать. Если завтра духи нам помогут, то пошлют рогача, будет шашлык.

Эрден не отозвался. Костер угасал, словно медленно закрывался теплой кошмой. Во всем мире наступила тишина. Только шелестели травы да хрумкали, пофыркивая изредка, кони.

И думали в этой тишине свои таинственные думы горы.

Охота была удачной. За два дня Михаил с Эрденем убили двух маралов. В Куулгы они спустились под вечер. Народ только что вернулся с поля, деревня, вымершая днем, ожила: доили коров, носили воду, дрова, занимались мелкими домашними делами.

Тари и Фатима возились с приготовлением ужина, Аба сидел неподвижно у очага. Михаил, ввалившись в аил, встал по стойке «смирно», отрапортовал:

— Дедушка Аба, мы с Эрденем убили двух маралов! Вон там мясо на дворе. Сами, как видите, живы-здоровы, а значит, никаких духов не существует на свете. Это вам сам Шербак говорит. Слово! Примите извинения за прежние глупые шутки, больше не буду.

Что-то покатилося и зазвенело на женской половине аила. Маленькая Тари, сморщившись еще больше, глядела на Михаила. Аба поднял голову, но слов не находил, сидел как во сне.

На одну лишь минуту нашло замешательство на Фатиму. Она переводила взгляд с Аба на Тари, с наигранно улыбавшегося Михаила на хмурого Эрдена и вдруг хлопала в ладоши:

— Мальчики! Неужели и правда убили? А где они, покажите! Большие?

Она выбежала вслед за Эрденем, а через минуту уже вертела две пары великолепных рогов, считала отростки и говорила, может быть, больше и громче, чем следовало:

— Вы, мужики, злодеи! Такую гордость загубили. Но до чего же красивы! И теплые, кажется. Я никогда не держала в руках. Какое-то совершенно незнакомое чувство!

И тут же принялась помогать Эрдену готовить шашлык, потому что Михаил сказал, что уж раз так случилось, надо всех угостить, превратить это в общий праздник.



Аба сидел не шелохнувшись. Страшный вопрос, что же будет теперь, сковал его. Потом ему пришло в голову, что все же с Эрдемом был русский. Он горестно уставился на Эрдема:

— Что, обоих зверей застрелил Щербак?

Эрдем в это время выскочил из аила, и Аба замолк надолго.



Все уже знали, что Эрден возвращается к месту службы. К тому же видели его и Михаила, с большой поклажей спускавшихся с гор. И очень скоро потянулись к аилу Аба люди. И каждый шел не с пустыми руками, а с каким-нибудь свертком.

— Вот, Эрден, принес тебе на прощанье, — говорил то один, то другой, вручая ему тажаур с аракой. — А вот

тут курут-сыр для твоих армейских друзей. Пусть не брезгают, откушают, в нем запах и сок твоих родных гор.

Эрден знал обычаи и не отказывался. Приносят ведь от души, нехорошо обидеть, рассердить человека. Могут сказать, что внук Аба, став «описером», зазнался. Эрден ставил подарки на видное место.

Когда мясо сварилось, людей стали приглашать из айла в дом, где Фатима и Тари накрыли столы.

Все еще не поднимаясь, Аба спросил настойчивее:

— Так зверей-то убил Щербак? Одного и другого? Так, Эрден?

— Да чего вы боитесь, дедушка?— Эрден подошел к нему под взглядами собравшихся, а были тут и стар и млад.— Да не бойтесь вы ничего, дедушка Аба!— Он хотел помочь деду встать, нагнулся и подал руку, но посмотрел на лица глядевших на него с недоверием и любопытством людей и распрямился:— Одного рогача убил Михаил, а другой мне на прицел попался!— И было в его голосе не только желание сказать правду людям, разуверить их в чем-то, но и гордость охотника.

Что с ним поделаешь! Горько стало Аба. Но ведь не возьмешь крапиву и не выдерешь его хорошенько.

— Ты же знаешь, горы наши священные,— глухо проронил старик, хотел что-то еще сказать или сделать, но так и не нашелся и прикрикнул сердито на Тари.— Поддай сюда арчин, что висит над головой.

Тари по-молодому соскочила и подала пучок можжевельника. Кудрявый, зеленый, он был хорошо просушен, крошился и осыпался.

Аба взял дрожащими руками арчин и чуть слышно заговорил:

— Слушай меня, вестник Белого Ульгения, с камчой из красной тучи, с поводом из радуги, с плетью из белой молнии! Вестник между небом и землею, помоги роду моему, прости, прости... Когда была сотворена земля, о Белый Ульгень, тогда создан был и наш род.

Аба подбрасывал в огонь арчин, пламя вспыхивало, по айлу разносился дух, щекочущий коздри. Чуть успокоившись, старик повернулся к Эрдену:

— Предупреждал я тебя с малых лет, так ты меня,

старика, все-таки не послушался. Что ты за человек такой? Ладно, идите...

Провожая Эрдена, пили араку, ели мясо и пели до рассвета. Особенно веселился и балагурил Щербаков. Играл на гитаре, сыпал алтайские частушки попеременно с русскими, потешал людей. Понизив голос, захлебываясь словами, он передразнивал девчат:

Сенни кара чамчанды<sup>1</sup>  
Полоская каждый день...  
Сенни кара кезинди<sup>2</sup>  
Поминаю каждый день...

Люди веселились в доме, Аба сидел в аиле. Перебирал в памяти реки и горы Алтая, крутые перевалы и бормотал:

— Не обращайтесь внимания на моего глупого внука, леса мои, горы мои священные... Отец мой, Белый Бурхан, создатель его, великий Кудай!..

Порой ему казалось, что горы отвечают: «Аба, ты, однако, сам перестал верить Белому Бурхану?»

— Нет, нет, верю, верю,— испуганно шептал старик.— Прости меня, отец и создатель Белый Бурхан! Обойду весь свет, орошу молоком белой кобылицы, прости меня, прости!

«А коли так, отчего не остановил ты внука, не удержал?»

— Останавливал, останавливал, говорил я ему! Это не он, это русский Щербак виноват, он натолкнул. Прости ему, создатель солнца и луны, простите, покровители живущих!

Он так и не дал до утра угаснуть костру. Эрден с Фатимой несколько раз приходили, звали его в дом, но он оставался неприступен. «Что же теперь будет, что же теперь будет?»— не переставал бормотать. Фатима, присаживаясь на корточки, брала его за руку, заглядывала в глаза, но он никого не видел, изредка только подбрасывал арчин в огонь да шептал молитву.

---

<sup>1</sup> Твою черную рубаху.

<sup>2</sup> Твои черные глаза.

В аиле было светло, но он чувствовал, как мрак наваливается на него, обступает все плотнее. Заслышав лай собак, вздрагивал, — кажется, там, во тьме, сотрясая землю, звеня сбруей, мчатся за маралом, разукрашенным кыйра-лентой, сыновья Казыраша. Кружат по великому Уч-Сюмеру, плещутся под ними озера, качаются горы...

— Смилуйся, смилуйся! — воздевал руки Аба к дымоходному отверстию. — Седьмым поколением клянусь тебе, мой Белый Бурхан, не переступлю золотой твой порог, мой Кудай! Пусть будут горы вечно зелены, не дай сгореть им, нашли дождя на семь дней, нашли снега на семь дней — только не гневайся!

Чего не приходит в голову перепуганному человеку! Аба начинало казаться, что душа его отделилась и вместе с духами с пением движется в подземелье горы Текпенек-Алды.

— Оставьте душу мою, оставьте душу! — упрашивал Аба.

В ответ слышался таинственный голос: «Тогда возьмем душу Эрден...»

— Нет, нет!!! Горы мои, духи горные, нет, нет... Будьте добры, будьте... Только не Эрден! Нет...

Под утро стали расходиться гости.

Тетушка Эштен, перед тем как уйти, зашла в аил к Аба:

— Аба, святых маралов убивал не Эрден, а Шербак. Шербак, говорю тебе, стрелял их. Вот я и наелась мяса. Задремавший было Аба вздрогнул:

— Коли нажралась, так иди домой, Эштен! Я тебе не ребенок. Ишь успокаивает. И забудь, как открывается дверь в мой аил!

Эштен потопталась на месте и вышла, шаркая тяжелой кожаной обувью...

Через два дня Эрден уезжал. В прекрасный июльский день покидал он Куулгы. С порога деда Аба было видно, как сверкают, переливаются огнями вершины Уч-Сюмера, как серебрятся их далекие глетчеры.

Перед тем как сесть в машину, Эрден и Фатима про-

стились с Монкушем, обняли стариков, по-русски крепко расцеловав.

— До свидания, до следующего лета. Не тревожьтесь, Аба, все будет хорошо,— говорил Эрден, а у самого тревожно щемило сердце при виде Аба, сильно сдавшего за двое суток. Бледное лицо старика стало как бы пергаментным, холодные руки плохо сгибались, ноги дрожали.

Эрден по кругу прощался с людьми, собравшимися его проводить. Тут только понял, что ему не хватило времени, чтобы обойти все айлы, попить с земляками чаю.

Деду Кейлюку он не знал что и сказать:

— Конечно, нехорошо получилось, дедушка, не зашел я к вам, не успел.

— А я ждал тебя, Эрден. Было что сказать, да и тебя хотелось послушать... Мотри, в будущем году!..

Щербаков, остававшийся все это время у Эрдена, чтобы помочь обработать маральи рога, подсел к хмурому Аба и снова сказал:

— Дедушка, ты слышишь, нету их — ни ту-ээзи, ни су-ээзи. Так это я привирал ради выгоды общественной — да я уже говорил. Не сердись на меня, и на Эрдена не надо сердиться, он тоже хотел как лучше... Вот увидите, все будет прекрасно, обойдется самым великолепным образом!

Аба кивал, смотрел бесцветными глазами перед собой.

Щербакову показалось, что в последнюю минуту он встрепенулся, хотел что-то сказать Эрдену, но из-за машины вынырнула Нина Кертешева — в новом шелковом костюмчике, в косынке и с чемоданом. Вытерев концом косынки лицо, словно старая Тари поясом, смущенно обвела всех взглядом, отыскала Фатиму и нерешительно двинулась к ней:

— Фатимочка, не найдется ли местечка в вашей машине?

— А по делу едешь? — улыбнулся Эрден. — Куда собралась?

— Мне бы до города.

— Ясно. Снова поступать куда-нибудь?

Нина, ни на кого не глядя, кивнула.

Эрден еще раз обошел всех по кругу, махнул горам, подернутым синей дымкой.

— До свидания, Алтай, до свидания, Уч-Сюмер, и вы прощайте, золоторогие маралы!

— Говорят, сильно заболел дед Аба.

— Токтыр, что ли, приезжал?

— Приезжал, говорят, из райцентра, внучка Эштен позвонила в больницу.

— Ба-таа! А всходил ли Аба на священную гору, славил ли духов? Просил ли благословения?

— Нет, сам он никуда не ездил. За аржаном к священному источнику ездил Монкуш. Аба, говорят, пил и умывался.

— Зачем же он Монкуша посылал? Не нашлось, что ли, человека посерьезнее, который знает молитвы хозяевам гор?

— Говорят, ничего не ест. Пьет только чай. Сам сказал: «Все, конец, пора в дорогу...»

— Ах, какая беда! Ведь это все Эрден. Как не послушать деда!

— Нет, трудно все-таки понять этого Эрдена. Можно сказать, родного деда променял на марала...

Словно серые юркие мыши в сухой осенней траве, шмыгали из аила в аил слухи.

Кымыс подошла утром к медпункту и увидела Монкуша.

— Что, Монкуш, желудок, что ли, заболел?— спросила она и засмеялась.

— Нет,— принял парень шутку, как мячик,— мой желудок терпит даже тормозную жидкость.

— Ха-ха-ха...

— А я по делу, хохотунья,— вид его стал серьезным.— Дедушка Аба крепко заболел, не ест ничего.

Поднявшись по лесенке, Кымыс оглянулась:

— Да, я слышала, иди. Я скоро буду.

Когда Кымыс переступила порог их аила, Аба, лежавший на самодельной деревянной кровати, устремив

глаза все в тот же очаг, повел головой, блеснул глазами и отвернулся к стене, словно капризный ребенок.

«Зачем змееподобная явилась,— ругался он про себя,— кто звал ее? Работа Монкуша...»

Старая Тари поздоровалась и придирчиво осмотрела стройные ноги Кымыс из-под не длинного, но и не короткого платья, ее шапку из лисьих лапок и промолвила:

— Глаза никудышные стали, никак не узнаю, чья будешь-то?

— Как же так вы не узнаете меня?— удивилась Кымыс.— Внучка Эштеня я.

— Ох и забывчивая стала моя старая мама!— засмеялся Монкуш.— То сама заступалась за Кымыс перед дедом, а то... вдруг «чья будешь»?

— Кто тебе сказал, что забыла!— раздражалась Тари и, оперевшись руками о колена, тяжело поднялась, застонав:— Ох, ноженьки мои, ноженьки... Посмотреть бы на тебя, когда столько годов будет, как мне, думаешь, за версту всех узнавать будешь...

Старуха, шаркая мягкими кисами по земле, добрела до шкафа, достала чашку, вернулась к кадке с чегенем, взболтала, подала гостье, уронив тихонько:

— Не заходящая к нам Кымыс, по каким делам пришла?

— Говорят, заболел дедушка Аба,— понизила голос и Кымыс,— посмотреть пришла.

Услыхав свое имя, Аба передернулся, будто ему в пятки иголкой ткнули, зашевелился: «Теперь я должен тебе свои старые кости показывать. Скорее уходила бы...»

— Жалуется, что ничего проглотить не может,— опять шепнула Тари и, взяв чашку у Кымыс, ополоснула ее, поинтересовалась:— Кто тебе шапку-то сшил, Кымыс?

Кымыс улыбнулась, вынимая халат из сумки:

— А что, хорошо сшита?

— Дай-ка сюда, посмотрю.

Кымыс подала шапку.

Тари надела ее на кулак и стала медленно вертеть и рассматривать, приговаривая:

— Все лапки одинаковые, все передние.— Она перевела взгляд на Кымыс:— Эх, нынешние девушки не берут

в руки иголки нитки. Красивая шапка, видать, бабка шила. На, возьми, береги.

— Почему же, я сама сшила.— Кымыс взяла шапку из старых морщинистых рук, надела на голову.

— Правду говоришь или шутишь?— удивился и Монкуш.

— Если сомневаешься, принеси лисьи лапки, я сошью тебе шапку,— не без лукавства улыбнулась она.

— Если умеешь так шить, то ты хорошая девушка,— сказала Тари, присматриваясь к рукам Кымыс, к каждому ее движению.— У меня у молодой тоже руки были проворные да сильные. А теперь согнулись пальцы, мучаюсь, единственную корову доить невмочь. А сколько я этими руками овечьих шкур выделала, сколько шуб и шапок сшила...

Видно было, что пронеслась в ней ее молодость и, как горное эхо, зазвенев, исчезла. Она отметила про себя, что Кымыс не подстригла волосы как попало, а носит косу, по-девичьи.

На теперешних девушек Тари и смотреть-то стыдно, не разберешь, парень ли, девка ли. А то напялят срамную короткую юбку, словно тело показать норовят. Это чтобы прежде при свекоре выставить голую ногу? Да никогда! А теперь не считаются со старшими рода. Лучше не думать. Нет, если бы такую вот молодницу Монкушу. Единственную корову и то доить трудно.

— О, даяло!— наконец вздохнула она, а Кымыс подумала, что Тари беспокоится за своего старика.

Кымыс между тем надела халат, встряхнула термометр, взяла фонендоскоп, чтобы послушать дедушку. И тут Тари опять неожиданно для себя подумала: «Если люди правду говорят, что она будет нашей невесткой, не положено ей смотреть на тело Монкушева деда. Ишь, не боится...»

— Аба, вы не спите? Как чувствуете себя?— Кымыс наклонилась над стариком.

Он не шевельнулся.

Кымыс постояла, подождала. Взявшись за одеяло, тихонько попросила:

— Поставьте термометр, давайте температуру измерим.

Старик не откликнулся, она подала знак Монкушу. Зашаркав тяжелыми сапогами, Монкуш подошел к деду:

— Вы же только что шевелились, Аба. Неужели уснули? Кымыс только хочет...

Аба словно того и ждал. Он повернулся, взгляд его окинул халат Кымыс, перескочил на фонендоскоп, метнулся из-под насупленных бровей к Монкушу. Плечи затряслись, словно от холода, и голосом, полным издевки, он произнес:

— Я думал, ты привел в аил вестника бога, а это всего-навсего внучка Эштен!

Кымыс вспыхнула.

— А я не заикался о вестнике бога, я привел к вам доктора,— невозмутимо сказал Монкуш.

— А если не вестник, так можешь показываться ей сам!— Аба подтянул одеяло, спадавшее с плеч, и снова повернулся спиной.

Старая Тари не вытерпела, поднялась, Монкуш и Кымыс уступили ей место.

— Эй, может, ты разрешишь ей послушать и посмотреть тебя?— тихо вступилась она, как все старые алтайки избегая при посторонних называть мужа по имени.— Кто знает, может, она и поможет тебе, эй!

— А-а,— закричал и закашлялся старик,— и ты заодно с ними? Нет уж, пусть никто не подходит и не трогает меня! Если тебе не терпится, покажись ей сама, старая ворона!

Ничего больше не сказала Тари, махнула рукой и села к очагу на своей половине.

Растерянная Кымыс беспомощно оглядывалась и вдруг сорвала с себя фонендоскоп и объявила сердито:

— В таком случае я вызову врача из райцентра!— и прямо в халате выбежала из аила.

Аба тут же вскочил, словно под ним загорелась постель. Ходуном заходил кадык, задрожали худые руки.

— Внучка Эштен еще не доросла, чтобы узнавать, что со мной!— хрипло закричал он и примолк, ошеломленный какой-то мыслью.

— Все равно надо было показаться, может, она что-то и узнала бы,— возразил Монкуш.

— Нет,— упирался Аба.— Если хочешь знать, у моей болезни есть причина, но не та, что думают! Правда, мой старший внук молод, ему надо жить и продолжать род. Но он...

— Не хочу и слушать!— крикнул Монкуш, побежал, в дверях обернулся чуть не плача:— Вы хотите сказать, что это брат виноват?..

— Послушай,— остановил его старик, но Монкуш, хлопнув дверью, исчез.

— Вот видишь.— Аба кивнул Тари, тяжело дыша.— Я хотел предупредить его, чтобы знал, как надо хоронить меня... А он... Вы вот что, гроба не делайте, заверните меня в войлок... Да не забудьте положить узду и седло.

— Ладно, перестань, старик... Я все передам, ложись.

— И чашку мою не забудьте, и ложку...

— Ладно, старик мой, молчи, говорю, все передам. Ты только на детей не сердись, им надо род наш продолжать... Правнуки Бачиматова Кара должны долго жить...

— Ты думаешь, я не хочу им добра? Ошибаешься, старая.— Аба силился улыбнуться. Сутулясь, опустился на постель.

Он был совсем серый и сильно дрожал.

— Хорошо быть молодым...— хрипел он.— Ты видала Кымыс? Как бы дать знать ей, что Аба на нее не сердится?— Какое-то подобие улыбки тронуло лицо старика.— Придет Монкуш, непременно дам знать... Как ты думаешь, моя Тари? Старость и молодость одинаково плачут?..

— Ты всегда был у меня мудрым,— говорила Тари, укладывая Аба.

Он попросил пить, она подала чегень. Аба отпил всего два глотка.

— Надо сказать Монкушу, чтобы положил со мной огниво. Огонь и на том свете нужен человеку.

— Ладно, старик, не думай об этом,— просила жена.— Они все сделают, ты только не торопись туда.

— Не утешай меня,— уже ровно дыша, произнес Аба.— У шербатого камня нет кожи, у человека нет вечности. Все идет, как хочется богу.— Он поднял голову

и долго смотрел в дымовое отверстие на знакомый клочок синего неба, шевелил губами. Затем взгляд его снова обратился к двери.— Значит, приведет большого токтыра?.. А не знает того, что конь не золотой, когда-нибудь да падает, человек не серебряный, когда-нибудь да умирает. Эх, Эрден, Эрден, внук мой...

## 11

Поздняя осень трепетала над Куулгы. Листья на деревьях давно облетели. Откуда-то сверху, со снежных вершин, ветер гнал над пустыми желтыми полями редкие, пушистые, как гусиные перья, снежинки.

Аба почти не поднимался. Всяк, кто бывал по делам в Онгуде, заходил к нему в больницу, привозил гостинцы от себя и от Тари.

— Вот и все,— говорил Аба каждому, кто навещал его.— Пора, видимо, дети, собираться на тот свет... Вы, кто останетесь в живых, не трогайте больше священных маралов... По велению небесных богов, Алтай-кудая и Ак-Бурхана, я должен был еще немножко пожить, но...

Он задумывался и плакал. А потом начинал ругать врачей:

— Уж коли прогневались на меня горные духи, что могут сделать эти безбожники в белых халатах?.. Только зря, как пчелы, выются вокруг.

Эрден присылал письмо за письмом, и Монкуш частенько наезжал в Онгудай, подолгу сидел у постели деда.

В последний раз старику сильно недужилось. Он лежал в маленькой белой палате на двоих, головой к окну, и на изможденное пергаментное лицо, и на седую ушастую голову падал серый свет от стен и сумрачного дня. Старик еле поднимал тяжелые морщинистые веки, тускло смотрел на внука. Все внутри у Монкуша переворачивалось, сжималось, на ум не приходили подходящие слова. Что бы он ни говорил про дом, про Тари, про Эрдена, Аба только шевелил скрюченными холодными пальцами. Было видно, что все ему стало неинтересно, жизнь на глазах утекала куда-то из этого сухого тела, так странно ужавшегося

под байковым одеялом. «Вот ты каков, потомок великих иркитов»,— думал Монкуш неуместно, и все в голове его мешалось.

Аба приоткрыл глаза и смотрел на внука, будто поняв, о чем тот думал. Монкуш смутился, торопливо заговорил:

— Ну что вы, дедушка, подождите, врачи здесь хорошие, я узнавал, они вас обязательно поставят на ноги, вы только слушайтесь их. Надо верить, а вы...

Глаза у Аба вроде ожили, лицо задрожало, мелко-мелко задержалось.

— Врачи?— захрипел он.— Вылечат?.. Кто сказал тебе это? Сам Ак-Бурхан с заоблачных высей? Вылечат! А я скажу тебе что-то: меня мой внук Эрден уже давно променял на марала. Понял? А ты — вылечат... Променил он меня, променил...— Старик опрокинулся, а слова вырывались со свистом и хрипом, грудь ходуном ходила, выпроставшись из-под одеяла, глаза закатились, а пальцы, кривые, тонкие, хватали то рубашу, то простыню.

Монкуш испуганно озирался.

— Сестра, сестрица... — звал он, пятясь из палаты...

Вечером он долго ходил по холодным нелюдным улицам и все думал про деда, представлял его лицо с зактившимися глазами, слышал его хрипы и страшные слова про Эрдена. Сестра сказала, что ничего, это пройдет, побежала делать уколы, но Монкуш не мог успокоиться.

«А может, наши маралы и правда священные?— приходило ему на ум.— Зря я злил старика, смеялся, подкалывал?.. Ну, как это, в самом деле, стоило Эрдену убить марала, как дедушка заболел?.. Ну, был он старый, конечно, но все же на своих ногах таскался, а летом даже лечил Яманай... Кому бы сказать об этом?»

Он подумал, что хорошо бы сказать Кымыс, но она его только высмеет. «Медичка, интеллигентная, собирается поступать в институт на заочное, книжки разные выплывает умные. А я? Что ей я?»— ревниво думал Монкуш. И вспомнил, как болтали о ней куулгинцы, когда приехала и начала работать. Кто ей тогда доверял? Кто считался-то с нею?

«Кымыс? Да что она знает-то...»

«Ее больше интересуют песни».

«Видать, вертихвосткой стала там, в городе».

«Это уж точно. Разве не видно ее? Мыльный пузырь, хохотушка, так, пустышка какая-то».

И приболевшие люди шли к деду Аба. А теперь, словно перевернули долгоиграющую пластинку, все больше говорят: Кымыс да Кымыс. Недаром существует у алтайцев загадка про человеческий язык: «Тридцать белых коней, а посередине неуловимый конь огненной масти». С тех пор как Кымыс стала впервые в селе кин-эне, пошла из аила в аил слава об искусных руках новой «токторши»...

Он шагал под высокими звездами меж домами и знакомыми конусами аилов в глубокой тишине. Изредка глухо стонали горы.

Шел он и мучился, что родился таким неудачником. Ничего никогда не боялся, ничего не страшился, всегда готов был встретить врага в открытую, не боялся хохотать и поддевать Кымыс при народе, но один на один с ней терялся, будто был Монкуш не Монкуш, а смешной, застенчивый мальчик.

Он думал о том, как раньше все было просто. У девчонки согласия на брак и не спрашивали. Поймают, привезут в свой аил — и свадьба, той. Насилие, конечно, но все же жили, привыкали... Пожалуй, Монкушу это подошло бы... А то еще так: родители новорожденных договариваются поженить детей, когда станут взрослыми. Отец мальчика даст родителям девочки калым — и все, пьют сваты араку и ждут, когда подрастут ребята. Впрочем, у Монкуша нету отца...

Среди множества звезд на небе  
Ярче горит звезда одна.  
В мире безбрежном девушка одна —  
Не моя ли она судьба?

Да, но вообще-то Кымыс уже совсем не так на него смотрит, как смотрела прежде. Ему часто теперь удивительно тепло становилось под ее взглядом...

В доме тетушки Эштен горел свет. Кымыс откуда-то поздно вернулась, за занавеской шевелились тени. Добежав по дорожке от калитки двора до двери, Монкуш по-

вернул назад. Но на улице не было никого, ни один глаз за ним не следил. И Монкуш решился, снова вернулся, быстро стукнул, еще оглянулся и, распахнув двери, ввалился в дом.

Кымыс и бабушка ее удивленно глядели — они, видно, собирались ужинать. Тетушка Эштен первая пришла в себя, понимающе усмехнулась:

— Не собака ли за тобой гналась, Монкуш? — и перевела хитроватый взгляд на Кымыс. — Кажется, у нас нет злой собаки.

Монкуш, стоявший у порога, ляпнул:

— Как, разве у вас нет собаки?

Его глаза приклеились к Кымыс: черные блестящие волосы ее были распущены, свешивались за спинкою стула чуть ли не до полу, милые черные глаза словно ждали от него чего-то — так распахнулись, и вся Кымыс была не Кымыс, а картина, виденная где-то Монкушем.

И вдруг она припала головой на стол, и девичьи, чуть округлые плечи затряслись от смеха.

— Ты что же не садишься, Монкуш, уж не надел ли деревянные брюки? — Тетушка Эштен зашаркала кисами к шкафу.

А Кымыс так же неожиданно перестала смеяться и просто сказала, вздохнув:

— Что это ты, Монкуш, будто никогда не бывал у нас, о какой собаке ты говоришь? Давай с нами ужинать.

— А мне сказали, что вы купили злую собаку, — подмигнул ей Монкуш и сел на придвинутый стул.

Ставя перед ним суп, Эштен спросила:

— Где это слыхано, чтобы собаками торговали?

— Не только собаками! Я видел в городе, как одна полную корзину котят принесла и стала продавать, словно в корзине не котята, а яблоки.

Кымыс так и прыснула, а тетушка Эштен подняла брови:

— Впрочем, чему удивляться, в городских лавках все, кроме глаз, купить можно.

— Ну что вы, бабушка, будто не знаете Монкуша? Он же смеется. — Кымыс повела на него глазами с ласковой усмешкой, и он улыбнулся ей, чувствуя, что ему

хорошо. Может быть, и ей хорошо было сидеть вот так рядом с ним, есть суп и случайно задевать его локтем.

И ему хотелось долго-долго сидеть так, слушать ее звонкий искренний смех, видеть чуть припухлые губы, готовые сказать что-нибудь смешное или дерзкое, смотреть в ее быстрые, смешливые и ласковые глаза. «А что, если написать ей?— пришла ему сумасшедшая мысль.— Взять и отправить письмо из Онгудая. Как ни говори, письмо будет с печатью, она не сразу поймет, от кого...»

— Ты что замолк?

Ему показалось, что глаза у нее печальные.

— Да так.

— Хочешь послушать новые песни?

— Прямо сейчас будешь петь?

— Да нет.— Она закрутила волосы, сколола их на затылке. Когда нежные, загорелые тонкие руки поднимались к затылку, у Монкуша падало сердце.— У меня есть пластинка, недавно выпустили.

Кымыс включила проигрыватель.

— О, Воинков!— угадал Монкуш.— Вот поет, а?

Кружилась пластинка, менялись певцы и песни. В песнях — высокие звезды, горы, топот коней и звон родников. Кымыс, чуть наклонив голову, скрестив руки, слушала молча.

— А ее узнаешь?— спросила она про певицу.

— Как фамилия-то? Она приезжала с концертной бригадой.

— Ее родители рядом живут, в Шибее. Ты разве не знаешь чабана Чанкыша Ялбакова?

Тетушка Эштен, гремевшая посудой, услышала:

— О каком Чанкыше ты говоришь, балам, из рода тодош, что ли? Как же, я знаю его, но как его дочка залезла в ящик?

Кымыс рассмеялась, сказав, что бабушка у нее известная притворщица — вечно всех разыгрывает.

Пластинка крутилась. Певец пел о любви. О любви Монкуша к девушке, которая была рядом, но не догадывалась об этом.

— Девушка не моей судьбы,— повторил вслед за певцом Монкуш, вздохнул и затаился.

А пластинка вертелась, вертелась... «Девушка не моей судьбы, а может, моей судьбы».

— Ну как, Монкуш?— спросила тихо Кымыс.

Он не поднял глаз.

— Так себе, старые песни, их каждый день по радио Горно-Алтайск передает.

— То радио... А это пластинка, алтайская, наша...

— Монкуш!— загремела из кухни Эштен.— А что же я не спрошу: как там Аба, ты был в Онгуде?

И сразу перед Монкушем встала больница, дрожащие, дергающиеся руки деда, колющие, злые глаза, изможденное, ребяческое тело. Вот он кашлянул, задохнулся, безнадежно махнул слабой кистью: «Эрден меня давно променял на марала!»

— Монкуш, ты что же молчишь?

— Ничего, спасибо, все хорошо. Кымыс, мне очень нужно было видеть тебя.

— Я слушаю.

— Нет, в другой раз. Да, в другой раз лучше будет.

Он встал, крикнул «до свиданья» тетушке Эштен, у дверей задержался, обернулся: посередине комнаты стояла Кымыс со странным, тревожным и требовательным вопросом в глазах.

— Кымыс!.. Я знаю, ты скоро получишь письмо.

— Какое? Откуда?

— Из Онгудая...

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, так что ты жди...

— Постой! Я давно хотела тебе сказать: у тебя голос похож на голос Эрдена...

— Разве? Наверное, было бы лучше, если бы я был совсем похож на него...

— Нет, нет, Монкуш... Каждый должен быть похож на себя... Тогда хорошо...

— Будем...— И он толкнул дверь в ночь.

...Прощаясь с последними солнечными деньками, горят грани великого Уч-Сюмера. Скоро земля погрузится в глубокую белизну, на гордых вершинах поселятся снега

и туманы. А пока Уч-Сюмер наблюдает, как дымится аил Аба — уже который раз за последнее время. Было это и в месяц малой жары, и в середине лета. Последний раз куулгинцы собирались в этом аиле совсем недавно, неделю назад, когда умер его хозяин. Сегодня они отмечали седьмой день после смерти Аба.

Сегодня Аба, по его представлениям, уже на том свете и впервые узнает, что навсегда покинул мир, где долго жил и слыл почтенным человеком. Ясновидцы, если только они существуют, сегодня смогут увидеть деда. Дух старика взлетит из-под земли на вершинки сухих стеблей, поймет, что Бачиматов Кара умер, и горько заплачет, прощаясь с солнцем и луною, с землей и небом.

Ушел Аба в ясный осенний день. Тихо дымились отроги гор, тихо качались голые лиственницы и березы, задумчиво голубели мудрые кедры и ели. Аба опустили в могилу без гроба. «Мне не нужен этот красивый ящик, из него не выбраться духу», — еще давно говорил старик.

На него надели лучшую шубу, праздничную шапку из рысьих лап, ичиги красной кожи; под голову (будто уснул в горах у костра) подсунули седло и узду с красивой отделкой, не забыли и старые арчимаки — переметные кожаные сумы. В арчимаки уложили посуду и те самые палочки, которыми врачевал он вывихи и переломы.

Эрден опоздал хоронить: сутки просидел в аэропорту. Непогода не допустила, чтобы руки его несли дедово тело.

Хотел он на могиле Аба поставить ограду, но Тари избунтовалась: дух старика не поднимется на горный хребет, навсегда останется за железным забором. Тогда Эрден решил посадить на могиле живой памятник — кедр. Пусть люди скажут: «Дерево посадил старший внук деда Аба».

— Это он одобрит, — согласилась и Тари. — Дерево на могиле хорошего человека не сохнет, а у плохого — и года не минет, зачахнет. Твое дерево с весною распустится, заголубеет...

Кедр сажали вдвоем с Монкушем. Никто не стеснял их, и потому ничего не скрывали они друг от друга.

— Скажи, Монкуш, только честно,— начал Эрден,— он перед смертью не упрекал меня?

Долго молчал Монкуш и не смел посмотреть на брата. Тот не торопил, курил и тоже молчал.

— Дед наказал,— наконец промолвил Монкуш,— чтобы мы дружными жили — теперь вы мне и брат и отец...

— А про марала?

— Нет, про него ничего, кажется, не говорил.— Монкуш поднял глаза, они были налиты слезами.

— Ясно,— сказал Эрден. И, взглянув на могилу, вздохнул:— Прости меня, глупого, дедушка мой...

Крепкой большой рукой отер он глаза, поставил лопату.

— Я был еще маленький, когда он рассказал мне, как застрелил кукушку, чтобы узнать, сколько лет проживет. Нанизал он ее на шомпол ружья, на костре зажарил, съел и уснул под деревом, где убил ее. И ему приснилось, что жить будет до девяноста лет... Как видишь, целых пять лет не дожил...

Монкуш тоже слышал об этом.

— Не надо так думать, ака. Ведь дед сказал, что прожил свое.

И вдруг он спросил, помнит ли брат насчет самого высокого места на земле. Эрден тут же преобразился. Широкие скулы стянуло доброй улыбкой.

— А ведь началось с ваших звездочек на погонах, ака, вы тогда были еще капитаном, и дед сосчитал звездочки: «Не много ли?»

Да, да, Эрден вспомнил, как он пошутил, что после академии звезд будет меньше — дадут майора, а там будет видно...

— Тогда Аба почему-то сказал: «Звезды высокие. А что выше их? Человек! Он не должен быть ниже звезд!»

— Да, а на земле, говорит, где место высокое самое? И ответил: «Великая гора Уч-Сюмер!» Я тогда засмеялся: «Самое высокое место — Красная площадь, оттуда все можно увидеть и услышать...»

— А дед повел головой вот так и сказал осторожно: «Может быть, может быть, я там не был...»

...Опять в аиле Аба над очагом варилась баранина. Из рук в руки передавалась пиала с горьким напитком. Люди всю ночь просидят в аиле, съедят всю баранину, а наутро то, что останется, отнесут на могилу и подпалят.

Эрден и Монкуш держались все время рядом, такие разные лица их были покрыты одною печалью, и старой Тари казалось, что сейчас они оба похожи на мать, на милую ее Мекечи...

Она тихонько наблюдала за внуками и сказала тихонько:

— Хорошо, Эрден, что летом ты успел показать жену деду, он был очень доволен — умная у тебя жена... — Она судорожно вздохнула. — Теперь будем ждать лета, надо женить Монкуша... — И задержала взгляд на Кымыс, которая сидела возле Тарынчак, приехавшей со своей стоянки Кара-Суу.

Кымыс покраснела, а Тарынчак обхватила ее рукою за плечи:

— Монкуш хороший парень, тетушка Тари. Когда мой Анчи родился, Монкуш подарил ему пульку от своего ружья. Много чего он перенял от деда! Не печальтесь, тетушка Тари, Монкуша мы поможем женить. И никуда из Куулгы его не отпустим!..

Эрден слушал и думал о жизни и смерти, о смерти и жизни. Зачем живет человек? Придет ли бессмертие?.. Там и тут по горам Алтая молча и одиноко стоят каменные бабы — зачем, для чего? Наверное, предки Эрдена, лихие кочевники, тоже о бессмертии мечтали, и было им не безразлично, останутся или нет после них следы на земле.

Совсем близко от Куулгы каменный человек подставил ветру скуластое лицо. Задумчив косой разрез его немигающих глаз, упрям отшлифованный временем прямой нос. На голове у него венец с зубцами и птицей, похожею на орла. Он думает...

Может быть, в нем до сих пор живет вопрос: счастливы ли алтайцы, его потомки?..

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Борис Укачинович Укачин

## ГОРНЫЕ ДУХИ

Повесть

ИБ № 2832

Ответственный редактор *И. М. Пугачева*

Художественный редактор *Л. Д. Бирюков*

Технический редактор *Л. С. Стёпина*

Корректоры *Э. Л. Лофенфельд* и *Н. Г. Худякова*

Сдано в набор 30.01.79. Подписано к печати 20.07.79.  
Формат 84x108 1/16. Бум. типографская № 1.  
Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л.  
6,72. Уч.-изд. л. 6,48. Тираж 50 000 экз. Заказ № 4280.  
Цена 35 коп. Ордена Трудового Красного Знамени из-  
дательство «Детская литература» Государственного  
комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии  
и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский  
пер., 1.

Отпечатано с диапозитивов Можайского полиграф-  
комбината по ордену Трудового Красного Знамени  
фа-ке «Детская книга» № 1 Росглаволиграфпрома Го-  
сударственного комитета РСФСР по делам издательства,  
полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский  
пл., 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Укачин Б. У.

У41

Горные духи: Повесть/Пер. с алтайского М. На-  
заренко; Рис. Ю. Гершковича.— М.: Дет. лит.,  
1979.—127 с., ил.

В пер.: 35 коп.

Повесть молодого алтайского писателя о современной алтайской молоде-  
жи, ее любви к природе и стремлении сохранить красоту родной земли: живот-  
ный и растительный мир Алтая.

У 70803-400 313-79  
М101(03)79

С (Сиб)







